

25
376a

КРИТИКА О ТВОРЧЕСТВѢ ИГОРЯ СЪВЕРЯНИНА

СТАТЬИ: Проф. Р. Θ. Брандта—В. Я. Брю-
сова—С. Боброва.

РЕЦЕНЗИИ: А. Измайлова, А. Крайняго,
Иванова-Разумника,
С. Я. Рубановича,
В. Шмидта, В. Гиппиуса,
А. Амфитеатрова
и др.

МОСКВА
Издание В. В. Пашуканиса
MDCCLXXXVI

к III 1309289

$$83.3(2 - P_{4c})6 - 8$$

K. 82

$$83.3(2 - P_{4c})6 - 8 \text{ Colemenin } + 14 \mu.$$

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Родился 4 мая 1887 г. въ Петроградѣ.

Образованіе получилъ въ Череповецкомъ Реальномъ Училищѣ.

Лучшее воспоминаніе: директоръ кн. Б. А. Тенишевъ, добрый, веселый, остроумный.

Дебютировалъ въ ежемѣсячномъ журналѣ «Досугъ и Дѣло» (1905 г., № 2, 1-го февраля).

Издаль 35 брошюръ (2—24 стран.)—1904—1912 г.

Мать: Наталя Степановна, рожд. Шеншина, дочь предводителя дворянства Шигровскаго у., Курской губ.

Отецъ: Василій Петровичъ, отставной штабсъ-капитанъ 1-го желѣзнодорожнаго баталіона (нынѣ полка). Скончался 28-го мая 1904 г. въ Ялтѣ. (44-хъ лѣтъ).

Любимые поэты: въ дѣтствѣ — гр. Ал. К. Толстой, за тѣмъ — Мирра Лохвицкая, Фофановъ, Бодлеръ.

Любимые композиторы: Амбруазъ Тома, Пуччини, Чайковскій, Римскій-Корсаковъ.

Любимый художникъ: Врубель.

Очень много читаль.



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ

Рѣдко приходится видѣть, чтобы на долю поэта выпадало такое, совершенно необычное вниманіе, какого удостоился Игорь Сѣверянинъ отъ самыхъ разнообразныхъ круговъ читающей публики. Но къ читающей публикѣ книга попадаетъ, только пройдя чистилище критики. И, рассматривая отношеніе критики къ Игорю Сѣверянину, мы находимъ здѣсь всю гамму критическихъ отношеній, отъ самаго восторженнаго и до рѣзко отрицательнаго, граничащаго съ простѣйшей руганью. Задачей составителя предлагаемой книги и было: представить благосклонному читателю прослѣдить, по крайней мѣрѣ, въ самыхъ характерныхъ случаяхъ, это отношеніе критики къ Сѣверянину, такъ или иначе способствовавшее тому исключительному успѣху, въ которомъ одни видѣли самую печальную картину паденія литературныхъ вкусовъ, другіе — начало особаго вниманія читающаго міра къ новому стихотворству.

Какъ помнятъ, конечно, читатели Сѣверянина, первые явно благожелательные и серьезные отзывы о его творствѣ вышли изъ-подъ пера В. Я. Брюсова; этими отзывами въ значительной степени былъ созданъ успѣхъ Сѣверянина. Поэтому мы сочли за лучшее предложить В. Я. Брюсову дать окончательную сводку его отзывовъ о Сѣверянинѣ въ одной специальной статьѣ, на что В. Я. Брюсовъ любезно согласился. Эта статья открываетъ нашъ сборникъ.

Слѣдующая статья С. Бюрова имѣетъ цѣлью представить читателю въ нѣкоторомъ хронологическомъ порядкѣ исторію отношеній Сѣверянина и критики.

Далѣе слѣдуетъ нѣсколько журнальныхъ рецензій на книги Сѣверянина. Выбирая ихъ изъ всего невѣроятнаго количества журнальныхъ и газетныхъ статей о Сѣверянинѣ, мы, разумѣется, не могли слѣдовать нашему личному вкусу, и этотъ отдѣлъ даетъ читателю всего лишь нѣсколько характерныхъ моментовъ Сѣверянинскаго «успѣха», моментовъ, созданныхъ тѣмъ или инымъ изъ нашихъ руководителей покупающей публики.

Одной изъ довольно важныхъ особенностей поэзіи Сѣверянина является его словотворчество. До сей поры эта часть творчества поэта или служила предметомъ рекламоподобныхъ пародій, или была нѣкоей Гайдъ-паркской платформой, откуда критики Сѣверянина растолковывали публикѣ о томъ, что въ сей платформѣ нѣтъ ничего такого... особенно дурного. По этой причинѣ мы пришли къ убѣжденію о необходимости спеціально филологической критики словотворчества Сѣверянина. Эту работу любезно принялъ на себя заслуженный проф. Р. Ѳ. Брандтъ. Этой статьей заключается наша книга.

В. Пашуканисъ.

Валерій Брюсовъ

ИГОРЬ СѢВЕРЯНИНЪ

I.

«Когда возникаетъ поэтъ, душа бываетъ взволнована», — писалъ Ѳ. Сологубъ въ предисловіи къ «Громокипящему Кубку». Конечно, пѣвецъ звѣзды Маиръ, обычно скупой на похвалы, не могъ ошибиться, произнося приговоръ столь рѣшительный. Чуткость не измѣнила Ѳ. Сологубу, когда онъ привѣтствовалъ Игоря Сѣверянина высокимъ именемъ Поэта. Да, Игорь Сѣверянинъ — поэтъ, въ прекрасномъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, и это въ свое время побудило пишущаго эти строки, одного изъ первыхъ, въ печати обратить на него вниманіе читателей и въ жизни искать съ нимъ встрѣчи. Авторъ этой статьи гордится тѣмъ, что онъ, вмѣстѣ съ Ѳ. Сологубомъ и Н. Гумилевымъ, былъ въ числѣ тѣхъ, кто много раньше другихъ оцѣнили подлинное дарованіе Игоря Сѣверянина.

Однако, самое названіе «поэтъ», въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, требуетъ поясненій и опредѣленій. Конечно, «не тотъ поэтъ, кто риомы плестъ умѣть». Съ другой стороны мы только условно называемъ «поэтомъ» того, кто совсѣмъ не умѣетъ «плестъ риомы». Въ одной эпиграммѣ Баратынскій шутилъ: «И ты — поэтъ, и онъ — поэтъ, но разницу между васъ находятъ»... Даже между великими поэтами «разница» несомнѣнна. Можетъ-быть, по силѣ непосредственнаго стихійнаго дарованія, Тютчевъ не уступалъ Пушкину. И все же

Пушкинъ сталъ родоначальникомъ всей новой русской литературы, а роль Тютчева въ исторіи нашей поэзіи гораздо менѣе значительна. Это происходитъ оттого, что одинъ талантъ еще не опредѣляетъ всего значенія поэта и писателя.

Мы знаемъ, что гений иногда «озаряетъ голову безумца, гуляки празднаго». Хорошо, если такимъ гулякою оказывается Моцартъ, да и то Сальери сказалъ не всю правду: изъ біографіи Моцарта мы знаемъ, какъ много онъ учился и какъ много работалъ. Когда гений соединяется съ огромнымъ умомъ, жаждущимъ познаній, съ безошибочнымъ вкусомъ и съ неустаннымъ трудолюбіемъ, получается титанъ литературы, какъ нашъ Пушкинъ или германскій Гете. Томы сочиненій Пушкина, его глубокія сужденія о разнообразнѣйшихъ вопросахъ исторіи, политики, науки, искусства, его черновыя рукописи, свидѣтельствующія о кропотливой работѣ, опровергають то представленіе о нашемъ великомъ поэтѣ, какое готовъ былъ поддерживать онъ самъ: какъ о «повѣсѣ, вѣчно праздномъ». Разносторонность познаній и интересовъ Гете достаточно извѣстна. Когда же поэтическій даръ не сочетается ни съ исключительнымъ умомъ, ни съ неодолимымъ терпѣніемъ, въ лучшемъ случаѣ выходитъ русскій Фофановъ или французскій Верлэнъ.

«Душа бываетъ взволнована, когда возникаетъ поэтъ». Но послѣ перваго радостнаго волненія наступаетъ время анализа. Нашедшій кладъ, сначала только пересыпать золото изъ руки въ руку, но потомъ начинаеть считать его и опредѣлять цѣнность монетъ. Мореплаватель, открывшій островъ, послѣ первой минуты горделиваго счастья, отправляется изслѣдовать новую землю, выясняетъ, пригодна ли она для житія, богата ли растеніями, животными, минералами, есть ли въ ней удобныя бухты. Подобно этому, «открывъ» новаго поэта, переживъ радостное «волненіе души», читатель невольно начинаетъ относиться критически къ новому знакомцу, старается опредѣлить его удѣльный вѣсъ. Хочется узнать, принадлежитъ ли новый поэтъ къ числу рѣдкихъ «посланниковъ Провидѣнія», благословенныхъ гостей міра, какъ

Пушкинъ и Гете, или къ числу второстепенныхъ свѣтилъ, какъ Фофановъ и Верлэнъ, или наконецъ, къ тѣмъ мимолетнымъ огнямъ, которые, какъ падающія звѣзды, порою озаряють на мигъ небосводъ литературы.

А, если бы случилось, что мы пожелали отказаться отъ анализа, если бы намъ захотѣлось только перебирать монеты найденнаго клада, только любоваться ново-открытымъ островомъ, только радоваться на строфы новаго поэта, — Игорь Сѣверянинъ самъ не позволилъ бы намъ отдаться этому непосредственному чувству. Первая большая книга, изданная имъ (онъ самъ именуетъ ее «первой» книгой, какъ бы отрекаясь отъ своихъ предыдущихъ изданій), «Громокипящій Кубокъ», — книга истинной поэзіи. Объ ея стихахъ справедливо сказалъ Э. Сологубъ: «пусть въ нихъ то или другое невѣрно съ правилами піитики, что мнѣ до того!» Но послѣ первой появилась «вторая», «Златолира», огорчившая всѣхъ, кто успѣлъ полюбить новаго поэта, — такъ много въ ней появилось стиховъ безнадежно-плохихъ, а главное, безнадежно-скучныхъ. Не лучше оказалась и «третья» книга, «Ананасы въ шампанскомъ». Стронники поэта объясняли это тѣмъ, что въ обѣихъ книгахъ были собраны преимущественно, прежніе, юношескіе стихи Игоря Сѣверянина. Мы ждали «четвертой» книги; она вышла подъ заглавіемъ «Victoria Regia», съ помѣтами подъ стихами 1914 и 1915 г. Увы! и она не оправдала добрыхъ ожиданій: въ ней много подражаній поэта самому себѣ и много стихотвореній неудачныхъ и слабыхъ: ни въ какое сравненіе съ «Громокипящимъ Кубкомъ» итти она не можетъ.

Что же остается дѣлать читателямъ Игоря Сѣверянина? Отбросить три его книги и перечитывать «Громокипящій Кубокъ», опять и опять радуясь на свѣжесть бьющей въ немъ струи? Или — вдуматься въ странное явленіе и рѣшить, наконецъ, что же за поэтъ Игорь Сѣверянинъ: суждено ли ему остаться «авторомъ одной книги» (какихъ мы не мало встрѣчаемъ въ исторіи литературы) или возможны для него развитіе, движеніе впередъ, новыя счастливыя созданія?

Последнее — прямое дело критики, и ее дело также, если она серьезно относится к своей задаче, указать, по мере своих сил и разумения, поэту, какие причины мешают ему развивать свой дар и идти к новым художественным завоеваниям: есть ли это нечто роковое, неодолимое для самого поэта, или нечто временное, с чем он может бороться. Позднее, безпристрастная история литературы укажет Игорю Свєрєянину его место в родной словесности; сейчас мы, критики, можем и обязаны указывать поэту пути, которые перед ним открыты. Правда, критиков слушают редко, но это уже не их вина, и свой долг они исполнить обязаны.

Подойдем же к поэзии Игоря Свєрєянина со всем доброжелательством читателя, благодарного ему за «Громокипящий Кубок», и постараемся уяснить для самих себя и для него, почему нас и, сколько мы знаем, так многих, любящих поэзию, не удовлетворяют его последние книги. ¹⁾

¹⁾ Здесь я вынужден сказать несколько слов *pro domo mea*. Игорь Свєрєянннъ весьма зол на критику и сыпает ее ругательствами: „Смотрите-ка, какая подлая в Россіи критика!“ В Россіи критическія статьи писали Пушкинъ, Гоголь, Баратынскій, Бѣлинскій, Ап. Григорьевъ, в наши дни пишутъ Д. Мережковскій, З. Гиппиусъ, Н. Гумилевъ, М. Кузминъ и столько другихъ, имена которыхъ служатъ достаточной защитой отъ брани Игоря Свєрєянина. Къ русскимъ критикамъ причислю себя и я, если 25 лѣтъ работы, руководимой обдуманными убѣжденіями, знаніями и личнымъ вкусомъ, а отнюдь не личными отношеніями съ тѣмъ или другимъ писателемъ, даютъ на то право. Недовольный моими критическими замѣчаніями о его книгахъ, Игорь Свєрєянннъ позволилъ себѣ заявить въ стихахъ, что я ему „завидую“. Любопытно, въ чемъ бы я могъ „завидовать“ Игорю Свєрєяннну. Мнѣ было бы стыдно, если бы я оказался авторомъ „Анапасовъ“, и мнѣ было бы обидно, если бы я сдѣлался объектомъ эстрадныхъ успѣховъ, выпавшихъ на долю Игоря Свєрєянина. Поэту, немного очадѣвшему, должно-быть, оттого, что „идутъ шестымъ изданіемъ иныхъ ненужные стихи“, слѣдуетъ усвоить себѣ простую разницу между критической оцѣнкой и завистью. Не нужно непременно завидовать и можно не переставать любить, судя критически и иногда строго осуждая тѣ или другія страницы прозы и стиховъ. Неужели Игорю Свєрєяннну непонятна благородная любовь къ литературѣ, побуждающая насъ, критиковъ, оцѣнивать созданія поэзии, а понимаетъ онъ только „кумовство“ или „зависть“?

Не думаемъ, чтобы надобно было доказывать, что Игорь Свєрєянннъ — истинный поэтъ. Это почувствуетъ каждый, способный понимать поэзію, кто прочтетъ «Громокипящий Кубокъ». Но важно опредѣлить диапазонъ поэзии Игоря Свєрєянина. Поэтому, хотя бы бѣгло, приходится окинуть взглядомъ его лучшія поэмы.

Первый признакъ поэта — умѣніе передавать, рисовать то, что онъ видитъ. Поэтъ обладаетъ способностью подмѣчать такія черты въ окружающемъ, которыя однѣ возсоздаютъ всю картину въ воображеніи читателя. Безъ этой способности нѣтъ поэта, вѣрнѣе, онъ можетъ и быть, но останется нѣмъ для всѣхъ; онъ будетъ воспринимать міръ художественно, но мы не узнаемъ этого изъ его неумѣлыхъ, безсильныхъ строкъ. Игорь Свєрєянннъ такой способностью «рисовать» обладаетъ въ сильной степени. Онъ — поэтъ-живописецъ; онъ рисуетъ цѣлыя картины, сохраняющія всю свѣжесть красокъ и даже какъ-будто весь ароматъ дѣйствительности. Читая «Громокипящий Кубокъ», видишь передъ собою поля, и лѣсъ, и море, и гостинную и диваны лимузинки.

Таковъ, напр., «День на фермѣ» (I, 23¹⁾, когда «бѣгло солнце по граблямъ», таковъ «Ноктюрнъ» (I, 47), изображающій, какъ «блѣднѣлъ померанцевый западъ»; таковы стихотворенія «На рѣкѣ Форелевой» (I, 32), «Январь» (I, 34), и многія другія въ первомъ отдѣлѣ «Громокипящаго Кубка». Немногими штрихами Игорь Свєрєянннъ возсоздаетъ сложныя картины. Присмотритесь и прислушайтесь, напр., къ такимъ стихамъ (I, 13):

День аლოსизъ. Лимоннолистный лѣсъ
Драприть стволы въ туманную тунику...

¹⁾ Мы означаемъ книги Игоря Свєрєянина римскими цифрами: I, II, III, IV; страницы въ нихъ — арабскими цифрами. Примѣры мы стараемся приводить преимущественно изъ стихотвореній послѣднихъ годовъ, начиная съ 1913. Во многихъ случаяхъ, однако, даты подъ стихотвореніями не проставлены, и мы не имѣли возможности проверить время ихъ написанія.

оцѣните такую черту (I, 25): «Закатный западъ былъ сиреневъ»... такой эпитетъ (ib.): „Шелъ тихій снѣгъ“, смѣлость и вѣрность такого образа (I, 49): «Хромаетъ ветхій мѣсяць какъ половина колеса», или еще (I, 27): «Ночь баюкала вечеръ, уложивъ его въ деревья». Все это — штрихи истиннаго поэта, какъ и длинный рядъ отдѣльных «счастливыхъ» выраженій, *trouvailles*: «морозомъ выпитыя лужи» (I, 50), «аллея олуненная» (I, 66), «садъ, утопленный въ лунѣ» (I, 89), «кувыркался вѣтерокъ» (I, 68), «ночи въ сомбреро синихъ» (I, 117), и т. под.

Второе необходимое свойство поэта — способность переживать событія глубоко и остро. Поэтъ-лирикъ имѣетъ почти единственный объектъ наблюдений — самого себя. Свою собственную страсть, свое счастье и свою скорбь замыкаетъ онъ «въ жемчужинѣ слова». Поэтъ долженъ не бояться страданий, потому что сильныя чувства даютъ ему темы для вдохновеній. «Всходитъ на костеръ», «итти на Голгооу», эти условныя выраженію заключаютъ въ себѣ жуткую правду для поэта-лирика. Кто неспособенъ сильно чувствовать, неспособенъ и вліять съ силою на читателей. Поэтъ «съ холодной душой» — *non sens*, противорѣчіе въ терминахъ.

По силѣ лирическихъ признаній Игоря Сѣверянина мы судимъ, что онъ переживаетъ свою жизнь остро. Такія, казалось бы, обыкновенныя отношенія, какія пересказаны въ стихахъ «Это все для ребенка». (I, 16), дали Игорю Сѣверянину исключительныя по своему импрессионизму строки:

Повидаться нельзя намъ.
Развѣ только случайно. Развѣ только въ театрѣ.
Развѣ только въ концертѣ.
Да и то безловесно. Да и то безпоклонно...

Какъ подлинная трагедія, читаются стихи «Златѣ», напр. эти (I, 45):

Ты ко мнѣ не вернешься: на тебѣ теперь бархатъ;
Онъ скрываетъ безкрылье утомленныхъ плечей...

Мы вѣримъ, мы увѣрены (иного доказательства нѣтъ), что только глубокое переживание могло подсказать такіе волнующіе ритмы (I, 14):

О, милая, какъ я печалюсь! О, милая, какъ я тоскую!
Мнѣ хочется тебя увидѣть — печальную и голубую...

О томъ же говорятъ другія стихотворенія «Сирени моей весны», небольшое число пьесъ изъ «Златолиры» и лучшія строфы въ началѣ «Victoria Regia». Поэтъ живетъ и, переживая «старую сказку», съ которой вновь знакомится каждый, узнающій нашу земную жизнь, принимаетъ ее по-своему, такъ, какъ было суждено лишь ему одному...

Особенность Игоря Сѣверянина составляетъ ироническое отношеніе къ жизни. Онъ очень вѣрно сказалъ о себѣ (IV, 31): «Я — лирикъ, но я — и ироникъ». Въ наши дни это — рѣдкій даръ; сатира въ стихахъ вымираетъ, и приходится дорожить поэтомъ, способнымъ ее воскресить. А что у Игоря Сѣверянина есть всѣ данныя для того, можетъ доказать одна «Диссона» (I, 77), стихотвореніе, прекрасное отъ начала до конца:

Ваше Сіятельство къ тридцатилѣтнему — модному — возрасту
Тѣло имѣете универсальное... какъ барельефъ...
Душу душистую, тщательно скрытую въ шелковомъ шелестѣ,
Очень удобную для проституттокъ и для королевъ...

Много такой злой ироніи разсыяно по «Мороженому изъ сирени». Цѣлый рядъ отдѣльных выраженій прямо поражаетъ своей мѣткостью и универсальностью: «дамьи туалеты пригодны для витринъ» (I, 70), «женоклубъ... гдѣ глупый въ правѣ слыть не глупымъ, но умный неперемѣнно глупъ» (I, 71), «подъ пудрой молитвенникъ, а на ней Поль де-Кокъ» (I, 70), «трумики, окуренные для эффекта» (I, 100), и т. д.

Иронія спасаетъ Игоря Сѣверянина въ его «разсудительныхъ» стихотвореніяхъ. Поэтому хороши его стихотворныя характеристики Оскара Уайльда (I, 101), съ прекраснымъ начальнымъ стихомъ: «Его душа — заплеванная Грааль», а также

Гюи де-Мопассана (I, 101), съ удачнымъ сравненіемъ: «Спускался ли въ Развратъ, дышалъ, какъ водолазъ». Тамъ, гдѣ Игорь Сѣверянинъ относится къ «толпѣ» иронически, прощаешь ему даже наивную самовлюбленность, и есть своя сила и своя правда въ такихъ выраженіяхъ, какъ «приличные мерзавцы» (I, 123). Въ послѣднихъ книгахъ поэта, можетъ-быть, удачнѣе всего тѣ стихи, гдѣ воскресаеъ эта иронія. Такъ, напр., хотя и съ нѣкоторыми оговорками, мы охотно «принимаемъ» стихи «Въ блестящей тѣмѣ» (III, 14).

Какъ подлинный художникъ, Игорь Сѣверянинъ обладаетъ даромъ перевоплощенія. Онъ умѣетъ писать и въ иныхъ стиляхъ, нежели свой, конечно, если чужой стиль ему знакомъ. Поэтому мы вполне вѣримъ поэту, когда онъ говоритъ, что могъ бы писать «какъ всѣ», Порукою въ томъ стиха Игоря Сѣверянина, написанные «въ русскомъ стилѣ», въ которыхъ онъ сумѣлъ остаться самимъ собой, удачно перенявъ то складъ нашей народной пѣсни, то особенности народнаго говора. Таковы стихотворенія: «Идиллія» (I, 15), «Chanson Russe» (I, 37), «Пляска мая» (I, 36), «Русская» (I, 37), нѣкоторыя пьесы изъ «Victoria Regia». Напротивъ, когда Игорь Сѣверянинъ пытается перенять стили ему незнакомые, напр.,—античный или писать стихи «экзотическіе», попытки кончаются горестной неудачей.

Давно указано, что каждый новый поэтъ приноситъ съ собою и новыя, свои, ритмы. Нельзя сказать, чтобы Игорь Сѣверянинъ сдѣлалъ многое для русскаго стиха. Но кое-гдѣ онъ все же пошелъ впередъ по дорогамъ, до него только намѣченнымъ. Такъ онъ широко использовалъ пеоническіе размѣры, вошедшіе въ литературу лишь послѣ К. Бальмонта. Благодаря тому, что Игорь Сѣверянинъ свои стихи не читаетъ, а поетъ, онъ могъ свободно примѣнять ямбы съ пиррихиями на ударныхъ стопахъ, что раньше употреблялось лишь въ романсахъ, назначаемыхъ для пѣнія (какъ, напр., стихъ: «А слѣдовательно—не слонъ», IV, 127). Среди новыхъ словообразований, введенныхъ Игоремъ Сѣверяниномъ, есть нѣсколько удачныхъ, которыя могутъ сохраниться въ языкѣ, напр., гла-

голь «олунить». Наконецъ, и ассонансы, на которые Игорь Сѣверянинъ очень щедръ, иногда у него звучатъ хорошо и, дѣйствительно, замѣняютъ риму; интересны его попытки использовать, вмѣсто римы, диссонансъ,—слова, имѣющія различныя ударныя гласныя, но одинаковыя согласныя (напр., III, 39: «кедръ—эскадръ—бодръ—мудръ—выдръ»).

Таковъ Игорь Сѣверянинъ, какъ онъ представляется въ своихъ лучшихъ созданіяхъ. Это—лирикъ, тонко воспринимающій природу и весь міръ и умѣющій нѣсколькими характерными чертами заставить видѣть то, что онъ рисуетъ. Это—истинный поэтъ, глубоко переживающій жизнь и своими ритмами заставляющій читателя страдать и радоваться вмѣстѣ съ собой. Это—ироникъ, остро подмѣчающій вокругъ себя смѣшное и низкое и клеймящій это въ мѣткой сатирѣ. Это—художникъ, которому открылись тайны стиха и который сознательно стремится усовершенствовать свой инструментъ, «свою лиру», говоря по-старинному. При такихъ данныхъ, казалось бы, можно ли желать большаго? Чего же не достаетъ Игорю Сѣверянину, чтобы не только быть поэтомъ, но и стать поэтомъ «значительнымъ», а, можетъ-быть, и «великимъ».

На этотъ вопросъ мы и ставимъ своей задачей отвѣтить.

3.

Аббатъ Делиль увѣрялъ, что весь геній Вергилія заключался въ его вкусѣ. По отношенію къ Вергилію это—несправедливо, но вѣрно въ томъ смыслѣ, что вкусъ имѣетъ въ искусствѣ значеніе огромное. Безошибочный вкусъ можетъ замѣнить геній. Но никакая геніальность не вознаграждаетъ отсутствія вкуса. Ошибки противъ вкуса, безвкусіе, обезобразятъ самое вдохновенное художественное созданіе; онѣ чувствуются особенно больно и для нихъ мы не находимъ никакого извиненія. Между тѣмъ именно добраго вкуса и не достаетъ въ стихахъ Игоря Сѣверянина.

Въ одной изъ своихъ «поэзъ» (какое безвкусное слово!

Игорь Сѣверянинъ, издѣваясь надъ критикой, увѣряетъ, что она, смѣясь надъ его «Хабанерой», не слышала въ стихахъ ироніи, искала лирики «въ сатирѣ жалящей» (IV, 123). Въ оправданіе критики надобно сказать, однако, что не всегда легко различить, гдѣ у Игоря Сѣверянина лирика, гдѣ иронія. Не всегда ясно, иронически ли изображаетъ поэтъ людскую пошлость или, увы! самъ впадаетъ въ мучительную пошлость. Мы боимся, что и самъ Игорь Сѣверянинъ не сумѣлъ бы точно провести эту демаркаціонную линію.

Когда продавецъ «мороженого изъ сирени» возглашаетъ: «Пора популяризировать изыски, утончиться вкусамъ народа!» (I, 59), мы надѣмся, это — иронія. Но вотъ, въ январѣ 1915 г., въ Петроградѣ, Игорь Сѣверянинъ пишетъ «увертюру» къ своему III сборнику, гдѣ угрожаетъ: «Я трагедію жизни превращу въ грезофарсъ» (III, 7). Сказано ли это иронически, или и въ самомъ дѣлѣ поэтъ мечтаетъ сдѣлать изъ жизни фарсъ, хотя бы и «грезо»? Восхваляя въ стихахъ нѣкую миссъ Лиль, поэтъ увѣряетъ ее: «ты еще пикантнѣе» (I, 116). Имѣемъ ли мы дѣло съ сатирой или подлинный идеалъ поэта — пикантность? А, восхваляя самого себя, Игорь Сѣверянинъ сообщаетъ намъ: «Мнѣ отдалась сама Венера» (II, 9). Только предположеніе, что поэтъ здѣсь иронизируетъ надъ самимъ собой (какъ и въ другихъ своихъ самохвальныхъ стихахъ) позволить не видѣть въ такомъ признаніи чудовищной пошлости.

Можно понять любовь автора къ своимъ произведеніямъ и желаніе сохранить даже болѣе слабыя изъ нихъ, оправданныя другими, болѣе совершенными. Но есть предѣлъ и въ такой любви; и только полнымъ безвкусіемъ, отсутствіемъ всякаго критическаго чутія, можно объяснить, что Игорь Сѣверянинъ переполнилъ II и III сборники своихъ стиховъ вещами безнадежно плохими. Здѣсь обрѣли свое мѣсто и стишки самаго банальнаго типа, какія обычно наполняютъ провинціальныя газеты и неудачнѣйшіе иллюстрированныя еженедѣльники (особенно въ отдѣлѣ «Лунныя тѣни»), и явныя техническія упражненія, которыя сколько-нибудь ува-

жающій себя поэтъ оставляетъ въ своихъ бумагахъ, и, наконецъ, просто мертворожденныя созданія, которыя простиительно написать въ неудачную минуту, но непростительно выставлять на показъ и на позоръ читателямъ.

Чѣмъ, какъ не отсутствіемъ вкуса, можно объяснить появленіе такой вещи, какъ «Шантажистка» (III, 45), гдѣ, въ плохихъ стихахъ, рассказывается, какъ нѣкая дама требовала съ автора (или съ героя стихотворенія) денегъ на прокормленіе прижитаго съ нимъ ребенка, а авторъ (или герой стихотворенія) предложилъ ей вмѣсто того отправиться съ первымъ встрѣчнымъ въ гостиницу? Или благонамѣренныя стишки (II, 26), въ которыхъ поэтъ (или герой стихотворенія) убѣждаетъ свою возлюбленную не вытравлять ребенка, совѣтуя ей: «плюй на всѣ осужденія, какъ на подлое свиство»? Или еще стихи (II, 32), гдѣ повѣствуется, какъ къ поэту (или герою стихотворенія) пришла его бывшая любовница и созналась, что измѣняла ему съ пятью мужчинами, при чемъ просила: «наплюйте мнѣ въ лицо», а онъ ей отвѣтилъ рыцарски: «съ глазъ долой!» И длинный рядъ такихъ же повѣствовательныхъ стихотвореній II сборника, передающихъ, можетъ быть, дѣйствительные факты изъ жизни поэта, но абсолютнѣйшимъ образомъ не интересные для читателя, разговоры, о которыхъ хочется сказать словами Лермонтова:

Гдѣ разговоры эти слышать?
А, если и случалось имъ,
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ!

Почти на каждой страницѣ особенно послѣднихъ трехъ книгъ Игоря Сѣверянина встрѣчаются выраженія, прямо оскорбительныя для каждаго, обладающаго вкусомъ читателя. То поэтъ пишетъ комическое: «Я... отъ нѣги вешней могъ истечь» (IV, 28) и даже столь доволенъ этимъ образомъ, что его повторяетъ: «ребенокъ могъ истечь» (не кровью, а «отъ грезъ»); то ставитъ неимоверное сочетаніе словъ: «я вдохновенно съѣлъ въ курьерскій» (II, 107); то подноситъ «другу» такой совѣтъ, въ стихотвореніи съ эпиграфомъ изъ Э. Сол-

логу: «Другъ, оголивай свою Ойлэ!» (II, 123). Игорю Сѣверянину нипочемъ сказать: «постигъ безсмертія процессъ» (I, 111), «зацѣлюю тебя, какъ идею браминъ», (II, 124), «въ танецъ пустился мѣръ, войдя въ азартъ» (II 10), о проституткахъ — «въ адъ ихъ дѣнь» (II, 115) «играть въ Наполеона — вотъ въ томъ-то и грѣхи» (IV, 96), «обостряли нервы до границъ» (II, 54), и т. под. и т. под.

Верха, быть-можетъ, безвкусія достигаетъ Игорь Сѣверянинъ въ стихахъ, посвященныхъ современной войнѣ. Отдѣлъ этихъ стихотвореній начинается отвратительной похвальбой, что величіе Германіи «солдату русскому на высморкъ» (IV, 93). Не думаемъ, чтобы самъ русский солдатъ, извѣстный своей скромностью и на дѣлѣ ознакомившійся съ мощью германцевъ, подписался подъ этимъ хвастливымъ выкрикомъ эстраднаго поэта. Далѣе авторъ комически восклицаетъ, обращаясь къ Германіи: «дрожи передъ моею лирой!» (или это тоже сатира на самого себя?) Затѣмъ гражданственная поэзія Игоря Сѣверянина переходитъ площадную ругань; «шутъ» (IV, 96), «буржуйка» (IV, 93), «наглая» (IV, 99), «апашъ» (IV, 99), «мародеръ» (IV, 94), «срамъ» (IV, 95) — вотъ приемы, которыми поэтъ хочетъ унижить нашихъ враговъ. Ругаться изъ-за спины другихъ — врядъ ли значить исполнять свой долгъ поэта въ войну, и не много надобно вкуса, чтобы понять, въ какой мѣрѣ это некрасиво, именно «не эстетично». Военные стихи Игоря Сѣверянина, которыми онъ срываетъ дешевые аплодисменты публики, производятъ впечатлѣніе тягостное.

Перефразируя слова аббата Делиля, можно сказать: всѣ недостатки Игоря Сѣверянина въ его безвкусіи.

4.

Но, кромѣ безвкусія, есть другая причина, закрывающая поэзіи Игоря Сѣверянина пути къ развитію. Поэтической талантъ даетъ многое, когда онъ сочетается съ хорошимъ вкусомъ и направляется сильной мыслью. Чтобы художест-

венное творчество одерживало большія побѣды, необходимы для него широкіе умственные горизонты. Только культура ума дѣлаетъ возможной культуру духа. Поэтъ, умственные интересы котораго ограничены, роковымъ образомъ обреченъ на скудость и однообразіе темъ, и вмѣсто безконечности міровыхъ путей предъ нимъ всегда будутъ лишь тропки его маленькаго сада.

Игорь Сѣверянинъ самъ не скрываетъ, что мысли не его удѣлъ. «Я — самоучка-интуитъ» сообщаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ (IV, 111). То была бы еще не большая бѣда, и Пушкинъ во многихъ отношеніяхъ былъ самоучкой; хуже, что Игорь Сѣверянинъ пренебрежительно относится вообще къ ученію. «Не мнѣ въ бездушныхъ книгахъ черпать!» (I, 136), гордо заявляетъ онъ. И изъ его стиховъ видно, что онъ, дѣйствительно, не такъ-то много «черпалъ» въ книгахъ. Какъ только онъ подступаетъ къ темамъ, требующимъ знаній (хотя бы и весьма элементарныхъ) это обнаруживается. Напр., у Игоря Сѣверянина Неронъ кланетъ свой тронъ (I, 107), а гетеры (!) глядятъ на него изъ ложъ партера; краснокожіе въ Мексикѣ мечутъ бумерангъ (I, 68); слово «шимпанзе» получаетъ удареніе на «а» (II, 111); браминъ цѣлуетъ идею (II, 124) и т. под. Не видно даже знакомства съ литературой, что казалось бы для поэта обязательно. Въ стихахъ Игоря Сѣверянина упоминаются лишь наиболѣе популярныя писатели, а если встрѣчается имя чуть-чуть менѣе общеизвѣстное, какъ замѣтно, что поэтъ знаетъ его лишь по наслышкѣ: какъ, напр., онъ говоритъ о строфахъ Верхарна, этого почти всегда а-строфическаго поэта!

Если стараться выудить изъ стихотвореній Игоря Сѣверянина мысли, отвлеченныя сужденія, уловъ получится самый бѣдный. Въ сущности выищется лишь единственная мысль: «живи, живое!» (II, 9), которую поэтъ и повторяетъ на разные лады: «люби живущее, живой!» (IV, 136), «Я... ярко радуюсь живымъ» (IV, 139) и т. д. Мысль не невѣрная, но не болѣе новая, чѣмъ максима (Вл. Соловьевъ): «Не людоѣдствуй». Попадаютъ еще, столь же «набившія оско-

мину» изреченія: «Одно безумье гениально, и мысль ничтожные мечты» (II, 112, сколько разъ твердилъ хотя бы Феть о «безумьи въщемъ поэта!»), или еще: «въ грѣхѣ забвенье» (I, 11), а потому: «грѣши отважнѣй» («если хочешь, поди согрѣши»), лѣтъ за 20 до Игоря Сѣверянина писалъ Д. Мережковскій, повторяя, конечно, старыя слова). А что такое «грѣхъ» по мнѣнію Игоря Сѣверянина?—«утолить инстинктъ» (I, 13). Вотъ и весь умственный багажъ поэта; это не мѣшаетъ ему увѣрять, будто «всероссно» т.-е. всѣ во всей Россіи убѣждены, что онъ что-то сказалъ «первый» (IV, 124).

Какъ только Игорь Сѣверянинъ берется за тему, требующую преимущественно мысли (можетъ-быть, лирикамъ и не слѣдуетъ братья за такія темы, но—если это ужъ случилось!), безсиліе его обнаруживается явно. Таково стихотвореніе «Подъ впечатлѣніемъ Обрыва» (II, 43) т.-е. разсужденія по поводу прочитаннаго авторомъ (давно пора было!) романа Гончарова «Обрывъ». Стихотвореніе написано въ формѣ письма, и въ первыхъ строкахъ Игорь Сѣверянинъ пресерьезно доказываетъ своей корреспонденткѣ, «что Гончаровъ—поэтъ». Разумѣется, можно, и даже похвально, изъяснять въ письмахъ лицамъ, мало образованнымъ, нѣкоторыя элементарныя истины, но почему педагогическія упражненія перелгать въ стихи и предлагать читателямъ? Далѣе авторъ письма объявляетъ, что хороша «борьба за право наслажденія», восклицаетъ: «великъ свободный Маркъ!», поучаетъ «счастье не въ лѣтахъ» и т. под. Если Игорь Сѣверянинъ все это вычиталъ изъ Гончарова, пожалуй, лучше было и не читать «Обрыва»!

Этой «святой простотой» поэта, его «неискушенностью» въ исторіи литературы, объясняется, вѣроятно, и его самомиѣніе, весьма близко подходящее, въ стихахъ, по крайней мѣрѣ, къ «маніи величія». Тому, кто не знаетъ всего, что сдѣлали поэты прошлаго, конечно, кажется, что онъ-то самъ сдѣлалъ очень много. Каждая мысль, каждый образъ кажутся ему найденными въ первый разъ. Очень можетъ быть, Игорь Сѣверянинъ, заявляя напр., «Я не лгалъ никогда ни-

кому, оттого я страдать обреченъ» (II, 42), увѣренъ, что впервые высказываетъ такую мысль и впервые въ такомъ тонѣ говорить въ стихахъ (но вспомнимъ хотя бы Добролюбовское: «Милый другъ, я умираю, оттого, что былъ я честенъ...»). Понятно, послѣ этого, что Игорю Сѣверянину совершенное имъ (т.-е. то, то онъ написалъ книгу недурныхъ стиховъ) представляется «колоссальнымъ», «великимъ» и т. под. Онъ объявляетъ, что «покорилъ литературу (I, 141) и т. под. Онъ опредѣляетъ, что это собственно значить, что его «отронить Марсельезія» (II, 11), что онъ «президентскій царь» (ib.), и т. под.

Отсутствіе знаній и неумѣніе мыслить принижаютъ поэзію Игоря Сѣверянина и крайне суживаютъ ея горизонтъ.

5.

Говорятъ, что Игорь Сѣверянинъ — новаторъ. Одно время онъ считался главою футуристовъ, именно фракціи «эго-футуристовъ». Однако для роли *maître* у Игоря Сѣверянина не оказалось нужныхъ данныхъ. Ему нечего было сказать своимъ послѣдователямъ; у него не было никакой программы. Этимъ внутреннимъ сознаніемъ своего безсилія и должно объяснить выходъ Игоря Сѣверянина изъ круга футуристовъ, хотя бы самъ онъ, даже для самого себя, объяснялъ это иначе. «Учитель», которому учить нечему,—положеніе почти трагическое!

Новаго у Игоря Сѣверянина не болѣе, чѣмъ приноситъ каждый истинный поэтъ, который «въ этотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣть солнце». Если у поэта нѣтъ ничего новаго, онъ—не поэтъ. Правда, Игорь Сѣверянинъ пытается дать родъ программы, но дѣло не идетъ дальше сообщенія, что «теперь повсюду дирижабли летятъ, пропеллеромъ ворча» и что поэтому намъ надобно «остраго и мгновеннаго» (I, 133—4), т.-е. дальше повторенія мыслей, давно ставшихъ достояніемъ малой прессы. Впрочемъ, здѣсь же указывается еще на преимущество ассонансовъ предъ римою (I, 133), но

этого какъ-будто мало для программы литературной школы, принимая во вниманіе, что вотъ уже четверть вѣка, какъ ассонансы широко примѣняются въ русской поэзіи!

Въ горячую минуту, въ ту эпоху, когда еще Игорь Сѣверянинъ былъ «непризнаннымъ», щеголялъ онъ еще своимъ презрѣніемъ къ «авторитетамъ», отрицаніемъ великихъ поэтовъ прошлаго. Такъ однажды вырвалось у него дерзостное, но не лишенное виѣшней соблазнительности, заявленіе: «Для насъ Державиннымъ сталъ Пушкинъ» (I,133). Это, впрочемъ, не помѣшало поэту въ томъ же стихотвореніи почти слово въ слово повторить стихъ Пушкина: «въ пустынь чахлой и пустой» (I,135). Однако, послѣ «признанія» Игорю Сѣверянину видимо захотѣлось отказаться отъ компрометирующаго заявленія, и онъ поспѣшилъ заявить: «Да, Пушкинъ старъ для современна, но Пушкинъ пушкински великъ» (IV,128). А потомъ Игорь Сѣверянинъ простеръ свою снисходительность къ своимъ «предшественникамъ» до того, что согласился признать: «за Пушкинымъ были и Блокъ и Бальмонтъ» (III,14).

Вообще, не въ примѣръ другимъ футуристамъ, Игорь Сѣверянинъ только на словахъ проповѣдуетъ пренебреженіе къ старой литературѣ. Не удивительно, что въ отдѣльныхъ стихахъ (какъ мы только-что видѣли) онъ совпадаетъ съ поэтами, писавшими до него. У старой поэзіи, — непосредственно и черезъ посредство писателей второстепенныхъ, не все ли равно? — онъ заимствовалъ размѣры, приемы изобразительности, рѣмы, весь склад своей рѣчи. Откинувъ маленькія экстравагантности, состоящія почти исключительно въ употребленіи ново-придуманыхъ словъ или формъ слова, мы въ стихахъ Игоря Сѣверянина увидимъ естественное продолженіе того пути нашей поэзіи, по которому она шла со временъ Пушкина или даже Державина. Въ подражаніяхъ Фофанову и Миррѣ Лохвицкой сознается самъ поэтъ. Но онъ заходитъ глубже въ исторію въ своихъ заимствованіяхъ. Такъ, напр., онъ пользуется условными образами классицизма, говоритъ о своей «лирѣ» (II, 103, IV, 93 et passim), поминаетъ Афродиту

(II, 124), Венеру и т. под. Впадая совершенно въ державинскій стиль, пишетъ, что народъ ему «возгремитъ хвалу» (II, 11), что Парижъ «вздрожитъ» (ib.), употребляетъ выраженія «злато» (II, 46), «ко пристанямъ» (II, 12), «зане» (II, 10), и т. под.

Кое-какія права на званіе новатора даютъ Игорю Сѣверянину лишь его неологизмы. Среди нихъ есть много глаголовъ, образованныхъ съ помощью приставки «о», напр., удачное «олунить» и безобразное «озабвѣтъ»; есть слова составныя, большею частью построенныя несогласно съ духомъ языка, какъ какая-то «лунопаль»; есть просто иностранныя слова, написанныя русскими буквами и съ русскимъ окончаніемъ; какъ «игнорирно»; есть, наконецъ, просто исковерканныя слова, большею частью ради рѣмы или размѣра, какъ «глазы» вмѣсто «глаза», «норкъ» вмѣсто «норокъ», «царій» вмѣсто «царскій». Громадное большинство этихъ новшествъ показываетъ, что Игорь Сѣверянинъ лишенъ чутья языка и не имѣетъ понятія о законахъ словообразованія. На то же отсутствіе чутья языка указываютъ непріятныя, вычурныя рѣмы, въ родѣ: «акварель самъ—рельсамъ», «воздухъ—грезъ духъ», «ветошь—свѣтъ ужъ», «алченъ—генераль чинъ» и т. под. Въ этомъ отношеніи Игорь Сѣверянинъ могъ бы многому поучиться у поэтовъ-юмористовъ.

Нѣтъ, въ новаторы Игорь Сѣверянинъ попалъ случайно, да, кажется, самъ тяготеетъ этимъ званіемъ и всячески старается сбросить съ себя чуждый ему ярлыкъ футуриста.

6.

Выводъ изъ всего сказаннаго нами направивается самъ собою. Игорю Сѣверянину не достаетъ вкуса, не достаетъ знаній. То и другое можно приобрести, — первое труднѣе, второе легче. Внимательное изученіе великихъ созданій искусства прошлаго облагораживаетъ вкусъ. Широкое и вдумчивое ознакомленіе съ завоеваніями современной мысли раскрываетъ необъятныя перспективы. То и другое дѣлаетъ поэта истиннымъ учителемъ человѣчества.

Одно изъ двухъ: или поэзія есть забава, пріятный отдыхъ въ минуты праздности, или серьезное важное дѣло, нѣчто глубоко нужное людямъ. Въ первомъ случаѣ, врядь ли стоитъ особенно беспокоиться, какъ и чѣмъ кто развлекается. Во второмъ, поэтъ обязанъ строго относиться къ своему подвигу, понимать, какая отвѣтственность лежитъ на немъ. Чтобы итти впереди другихъ и учительствовать, надо понять духъ времени и его запросы, надо, по слову Пушкина, «въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ», а, можетъ-быть, и выше его. Для насъ истинный поэтъ всегда — *vates* римлянъ, пророкъ. Такого мы готовы увѣнчать и привѣтствовать; другихъ — много, и почтить ихъ стоитъ лишь «небрежной похвалой». Тотъ же, кто сознательно отказывается отъ открытыхъ предъ нимъ прекрасныхъ возможностей, есть «рабъ лукавый», зарывающій свой «талантъ» въ землю.

Іюнь 1915.

Валерій Брюсовъ.

Сергѣй Бобровъ

СЪВЕРЯНИНЪ И РУССКАЯ КРИТИКА

I.

Описать, представить въ совершенно опредѣленномъ видѣ взаимоотношенія писателя и его критики — дѣло достаточно трудное. Раньше всего, — намъ очень понятно: что такое писатель, но что есть критика? Мы не посягаемъ на какое-либо умозрительное опредѣленіе этого понятія, это дѣло спеціальнаго изслѣдованія, а наши задачи много уже — но и въ этой узкой области «есть отъ чего въ отчаянныя прійти». — Будемъ ли мы понимать подъ критиками лишь тѣхъ, кто спеціально посвятилъ себя этому дѣлу; будемъ ли мы именовать критиками людей, попавшихъ въ положеніе экспертовъ — тѣхъ же писателей, которые судятъ своего собрата, согласуясь со своими — часто весьма сложными и глубоко интимными — спеціальными знаніями; покажутся ли намъ достойными имени критиковъ публицисты, люди явно партійные, склонные все и вся изъяснять — одинъ экономическими кризисами, другой «инородческимъ засильемъ»¹⁾, объявимъ ли мы, наконецъ, критикой всю груду газетнаго хлама, гдѣ философствуютъ, порицаютъ, восхваляютъ, шельмуютъ, пресмыкаются мученики пятака серебра, усердные читатели Брокгаузъ-Ефрона — господа газетчики?

¹⁾ См., напр., «Русское Знамя», 26 — IV — 15.

Можно навѣкъ застыть въ позѣ Буриданова осла передъ этими четырьмя рода критиковъ!

Попробуемъ поступить героически — принять ихъ всѣхъ сразу... Но здѣсь было бы любопытно сравнить эти четыре рода, сравнить — хотя бы по ихъ недостаткамъ. Итакъ: сортъ первый — критики-профессіоналы. Главный ихъ грѣхъ: оторванность отъ существа творчества и глубокая привязанность къ методамъ устарѣвшимъ. Въ самомъ дѣлѣ: критикъ не «дѣлаетъ литературу», а его послѣдній бѣгъ за оной уже самъ по себѣ предопредѣляетъ вѣчное отставаніе. — Второй сортъ: писатели-критики. Это, конечно, единственный сортъ освѣдомленной критики, но въ то же время ему, можетъ быть, свойствененъ грѣхъ, котораго чуждъ критикъ-профессіоналъ, этотъ грѣхъ, явственно воспрещенный десятой заповѣдью, зависть, — но намъ почти не придется его коснуться — погодки Сѣверянина о немъ почти не писали, а старшіе стоятъ въ сторонѣ отъ публики Сѣверянина ¹⁾. Третій сортъ критиковъ — не что иное, какъ самый опредѣленный курьезъ: эти «критики» начинаютъ собой крайнюю правую литературнаго парламента, какъ сказалъ однажды Андрей Бѣлый; эта курьезная, ридикульная и глуповатая линія начинается какими нибудь Кранихфельдомъ, Фриче, персонажами изъ «Русскаго Богатства», и исчезаетъ въ мрачнѣйшей пропасти, гдѣ копошатся антропофаги изъ «Русскаго Знамени». Наконецъ сортъ четвертый — явно ничего не знающій, ничѣмъ не интересующійся, живущій осколками неразрѣзанных «серьезныхъ» статей по экономикѣ и статистикѣ изъ «толстыхъ» журналовъ. Но и этотъ сортъ кое чѣмъ интересенъ — онъ не хитро и явно уясняетъ намъ — что дѣлается въ глубинахъ этой загадочной «публики», которая создаетъ успѣхъ.

Попробуемъ теперь пробѣжать по массѣ этихъ листковъ, которые начинаютъ мѣтить путь Игоря Сѣверянина еще съ 1905 года. Пробѣжать до нѣкоторой степени въ хронологическомъ порядкѣ.

¹⁾ Но есть еще одинъ страшный грѣхъ, отъ котораго свободны весьма немногіе — партийность.

Ихъ много, этихъ листковъ. Ихъ такая масса, что если бы перепечатать все — вышло бы томовъ десять хорошо убористой печати, Поэтому мы останавливаемся лишь у тѣхъ листковъ, которые характерны (и не столько для Сѣверянина, сколько для самое критики); далѣе же читатель будетъ имѣть возможность ознакомиться въ подлинникѣ съ наиболѣе важными статьями.

II.

Сперва — времена, такъ сказать, доисторическія; то время, когда Сѣверянинъ издавался тоненькими брошюрками, которыя мало кому попадались на глаза; т.-е. время до выхода «первой книги» Сѣверянина «Громокипящаго Кубка». — Тутъ насъ встрѣчаетъ обыденное обидчивое недоумѣнье, коимъ встрѣчать у насъ принято новаго поэта. Тотъ ухмыляется, тотъ не замѣчаетъ, другой остритъ: «не поэтъ, а поэтической пулеметъ» («Совр. Сл.» 29 — I — 10), великій критикъ земли русской г. Измайловъ, прочитавъ книжки Сѣверянина, пробурчалъ что-то о томъ, что «исторія осудила декаденство, но изъ декаденства выродился модернизмъ (!), — бодрое и жизненное теченіе» — а о самой книжкѣ — ни слова. Одинъ писатель, имя котораго и теперь немедленно обращаетъ въ бѣгство зазѣвавшася у книжнаго прилавка покупателя, г. Наживинъ, сѣзидилъ со стихами И. С. въ Ясную Поляну и прочелъ ихъ Толстому. Толстой сперва посмѣялся, а затѣмъ будто бы сказалъ: «Чѣмъ занимаются!.. чѣмъ занимаются... Это литература! Вокругъ — висѣлицы, полчища безработныхъ, убійства, невѣроятное пьянство, а у нихъ — упругость пробки!» ¹⁾. Этотъ потрясающій случай далъ поводъ другому знаменитому и великому писателю г. Яблоновскому напечатать фельетонъ («Южн. Кр.» 31 — I — 10), — такъ себѣ, самый обыкновенный фельетонъ. Провинція тихо мямлитъ надъ книгами Сѣверянина, кое что объ «изысканности и за-

¹⁾ «Бирж. Вѣд.» 29 — I — 10.

душевности» его стиховъ («Красноярск. Вѣстн.» 14—X—10). «Биржевыя Вѣдомости» находятъ, что стихи С. суть «стихотворная чехарда» («Б. В.» 28—X—10), «Новому Времени» (1—XI—10) не нравятся составныя рѣзны; сѣтуетъ на обращеніе поэта съ русскимъ языкомъ академической органъ русской мысли «Синій журналъ» (№ 1—1910). Г. Шебуевъ, издававшій въ то время «журналъ для молодыхъ», «Весна», посвящаетъ С. довольно длинную статью педагогическаго характера — «не надо такъ писать, а то выйдетъ смѣшно». «Саратовскій листокъ» (5—IV—11) объявляетъ С. «выродкомъ литературы», какъ и полагается въ такомъ умномъ городѣ, какъ Саратовъ. Зато въ Керчи («Гол. Крыма» 1911, № 386) думаютъ, что Сѣверянинъ въ общемъ недуренъ, хотя Петръ Муринскій (?) пишетъ гораздо лучше его. — Но въ маѣ 1911 года «Аполлонъ» печатаетъ статью Гумилева, гдѣ сей говоритъ объ И. С.: «трудно, да и не хочется теперь судить о томъ, хорошо это или плохо; это ново — спасибо и за то». Съ этого времени ругательства критики принимаютъ еще болѣе мрачный характеръ — признакъ того, что съ И. С. начинаютъ считаться. Пышутъ злобой «Бирж. Вѣдом.» (2—VIII—11), «Новое Время» (6—VIII—11), «Нива» (№ 8, 11—«Ежем. пр.»), «Русское Слово» (5—VIII—11) и др. Лучшій русскій поэтъ, всемірноизвѣстный г. Е. Вѣнскій уже чувствуетъ откуда вѣтъ вѣтеръ, и строчитъ первыя пародіи («Бирж. Вѣдом.», 9—VIII—11). Г. Измайловъ рѣшаетъ («Нов. Ж.» 1911, № 218), что И. С. — «рецидивъ декаданса» и т. д. Провинція все такъ же: и похваливаетъ и поругиваетъ потихоньку («Варш. Дн.», 20—X—11 и др.). — Въ это же время въ маленькой газеткѣ «Нижегородецъ», гдѣ ютились одно время эго-футуристы, г. Ивей (И. В. Игнатъевъ) помѣщаетъ хвалебныя рецензіи на И. С. («Нижегор.» 1911, №№ 78, 84). Большинство же отзывовъ переполнено сладостными воспоминаніями о Поприщинѣ, маніи величія и другихъ веселыхъ сюжетахъ. Особенно почему-то недовольны И. Сѣверянинымъ въ Харбинѣ, Владивостокѣ, Костромѣ и Вяткѣ. — Конецъ 1911-го года окрашенъ особымъ воємъ критики, — ибо въ это

время вышелъ «манифестъ эго-поэзии», что совершенно взбудоражило газетныхъ молодчиковъ. Книжки же И. С. встрѣчаютъ прежде отношеніе — «озорство и уродство», такъ пишетъ «Голось Земли» (5—III—12), «въ конецъ пошло», говоритъ аристократическая газета «Раннее Утро» (10—III—11). И. В. Игнатъевъ вновь чрезвычайно сочувственно пишетъ объ И. С. въ своей новой газеткѣ «Петербургскій Глашатай» (11—III—12). А лучшій русскій философъ-моралистъ, извѣстный красавецъ г. Арк. Буховъ пишетъ пародіи... и довольно скверныя пародіи. — «Новое Время» (31—III—12) вопитъ о мазохизмѣ; почему именно о мазохизмѣ — секретъ критика. Г. Измайловъ считаетъ, что дѣло зашло слишкомъ далеко и находить необходимымъ нѣсколько видоизмѣнить свою точку зрѣнія на И. С.; теперь вмѣсто «рецидива декаданса» онъ уже пишетъ «рецидивистъ декаденства». («Р. Сл.» 26—IV—12). Г. С. Кречетовъ съ присущей ему изысканностью («У. Р.» 26—V—12) говоритъ: «въ этомъ абсурдномъ юношѣ, въ этомъ «ослиномъ хвостѣ» отъ литературы... таится все же искра подлиннаго дарованія». Лицантропы изъ какаго-то «Паука» радуются, что въ редакціи «Петербургскаго Глашатая» нѣтъ... жидовъ, а потому и привѣтствуютъ И. С., — «Колоколъ» кричитъ о «нѣкихъ Брюсовыхъ и Сѣверянинныхъ», совращающихъ «нашихъ дѣтей», (какой Бэдламъ!), — а «Земщина» тутъ же констатируетъ, что всѣ виновныя въ «загаживаніи языка», т. е. эго-футуристы, суть «жиды и жидовствующие», устраивающіе «шабаши»¹⁾. — Но вотъ въ «Русской Мысли» появляются сочувственныя строки Валерія Брюсова. А затѣмъ выходитъ и «Громокипящій Кубокъ».

1) «Паукъ» (изд. въ Петроградѣ) 1912, № 17; «Колоколъ» 1—VI—12; «Земщина» 18—VI—12. — Эго-футуристы письмомъ въ редакцію заявили, что они православныя, послѣ чего «Земщина» извиняясь, объяснила свою ошибку тѣмъ, что «до сихъ поръ на такомъ языкѣ говорили только жиды»...

III.

«Громокипящій Кубокъ» вышелъ въ издательствѣ «Грифъ», съ которымъ критикѣ такъ или иначе необходимо было считаться. Предисловіе къ нему было написано Θεодоромъ Сологубомъ, кого также невозможно было игнорировать. Книгѣ предшествовали статьи Валерія Брюсова въ «Русской Мысли». Все это, всѣ эти предпосылки мнѣнія, создали совершенно иное отношеніе къ И. С. — Теперь читаемъ въ «Днѣ» (1—IV—13): «въ лицѣ И. С. передъ нами несомнѣнный талантъ, поэтъ «Божіей милостью», съ опредѣлившимся поэтическимъ міросозерцаніемъ... etc». Въ «Утрѣ Россіи» (16—III—13) г. Вл. Ходасевичъ помѣщаетъ опредѣленно доброжелательную рецензію. «Современное слово», за нѣкоторыми оговорками — хвалитъ («С. Сл.» 17—III—13); хвалятъ и газеты «Баку» (9—IV—13), «Оренбургскій край» (23—V—13), «Пермскія Вѣдомости» (9—V—13), «Уральская жизнь» (27—IV—13), «Кіевская Мысль» (1—V—13). — Антонъ Крайній въ «Новой Жизни» (февраль, 1913) говоритъ о творчествѣ И. С., какъ объ «описательствѣ», гдѣ «ego», «и не ночевало». Въ «Завѣтахъ» (январь, 1913) г. Ивановъ-Разумникъ говоритъ: «подаетъ надежды несомнѣнно талантливый Игорь Сѣверянинъ, если только откажется отъ своихъ «поэзъ», отъ жалкаго кривлянья и ломанья». Въ тѣхъ же «Завѣтахъ» черезъ мѣсяцъ (1913, № 3) тотъ же критикъ посвящаетъ И. С. цѣлую статью, гдѣ читаемъ: «И. С. несомнѣнно талантливый поэтъ, самобытный и красочный лирикъ». Въ «Современномъ мѣрѣ» г. Крайнихфельдъ повторилъ всѣ свои неразнообразные и запыленные пустячки, которые въ достаточной мѣрѣ надоѣли еще въ его полемикѣ съ модернистами («С. М.» № 4, 1913). Но и онъ «привѣтствовалъ въ лицѣ И. С. большой и многообѣщающій талантъ», что очень понятно, ибо критики типа г. Крайнихфельда, несмотря на всѣ свои бугады, заимствовали весь свой вкусовой багажъ у символистовъ, которые привѣтствовали И. С. — Въ «Русскомъ Словѣ» самый чуткій русскій критикъ (онъ же и самый умный)

г. Измайловъ начинаетъ говорить въ совершенно иномъ тонѣ. Теперь уже оказывается, что у И. С. «есть шесы прекрасныя, нѣжныя, задушевныя» — и т. д., когда такъ недавно еще И. С. въ глазахъ г. Измайлова былъ «рецидивистомъ декадентства»¹⁾. — К. Д. Бальмонтъ въ интервью съ сотрудникомъ «Раннего Утра»²⁾ говоритъ, что «находитъ И. С. талантливымъ». — Г. Луначарскій, писатель типа Крайнихфельда, нарекаетъ И. С. «талантомъ»³⁾. — Знаменитѣйшій Гр. Петровъ говоритъ объ И. С. сотруднику «Воронежскаго Телеграфа»: «какъ техникъ, И. С. рѣдкій поэтъ; необыкновенный кованный стихъ, великолѣпная чеканка ритма, но не нравится мнѣ его кривлянье». («Вор. Т.» 4—VI—13). — Ветхій и скучнѣйшій резонеръ «Сѣверныхъ Записокъ» г. А. Полянинъ «болѣе чѣмъ сомнѣвается, чтобы изъ генія И. С. выработался настоящій поэтъ» («Сѣв. З.», № 4 за 1913 г.). — «Волжскій Вѣстникъ» (7—V—13) хвалитъ И. С. — В. Гиппиусъ въ «Рѣчи» (24—V—13) въ общемъ, принимаетъ И. С., какъ поэта, съ кое-какими модернистическими оговорками. — «Минскій голосъ» (19—VI—13) хвалитъ И. С., считая его весьма интимнымъ поэтомъ, называя его «поэтомъ-чародѣемъ»⁴⁾. Г. Войтоловскій въ «Кіевской Мысли» (30—VI—13) похваливаетъ И. С., какъ стихотворца, но нападаетъ на него съ другихъ точекъ зрѣнія. Какъ курьезъ, небезынтересно отмѣтить слѣдующій пассажъ изъ рецензіи г. Войтоловскаго. Нашъ критикъ увѣренъ въ томъ, что словотворчество И. С. — «очень дешевая оригинальность, совсѣмъ не требующая улыбочиво-дерзновеннаго происхожденія». Такъ какъ это реченіе даже самому автору кажется весьма неубѣдительнымъ, то онъ пробуетъ, «не имѣя ни малѣйшаго касательства къ громокипящему кубку вѣтренной

1) «Р. Сл.» 16—V—13.

2) «Р. У.» 7—IV—13.

3) «Кіевск. М.» 17—V—13.

4) Слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что при этомъ рецензентъ хвалитъ самые неудачные стихи.



Гебы» написать «точно такіе же (!) стихи». И вотъ что у него выходитъ:

Воетъ, какъ пропеллеръ, по джрозкамъ сала
И кусты ажурить сѣверный Борей (!)
Рветъ безумнымъ жестомъ (!) красоту наряда (!)
И рубинить клены жуткій грезобрей.
Ужь вздохнула осень вздохомъ погрсбальнымъ (!)
Караванять гуси съ сѣвера на югъ...
Облакомъ унылымъ, облакомъ печальнымъ (!)
Грусть меня нарковить, о, мой милый другъ (!!).

Вотъ, что значить учить поэтовъ, «не имѣя ни малѣйшаго касательства къ громскипящему кубку вѣтренной Гебы!» Такъ тонуть маленькія дѣти... — Определенно же отрицательныя рецензіи на «Громокипящій Кубокъ» мы нашли лишь въ немногихъ изданіяхъ, коихъ общій характеръ требуетъ настоятельно эпитета — «желтый»¹⁾.

IV.

Слѣдующія книги И. С., «Златолира», «Ананасы въ шампанскомъ» и «Victoria Regia», въ значительной своей части составленныя изъ юношескихъ стиховъ поэта и не давшія своимъ читателямъ ничего новаго, сравнительно съ «Громокипящимъ Кубкомъ», весьма охладили восторги критики. Г. Измайловъ, положимъ, немного сбившійся и обжегшійся на «Громокипящемъ Кубкѣ» мямлитъ иѣчто чрезвычайнѣ сладостное и о «Златолирѣ». — Г. Тальниковъ, изъ «Современнаго Мира», называетъ «Златолиру» «недоразумѣніемъ въ стихахъ», самого поэта — «фиглярномъ» и т. д. въ обычномъ своемъ безграмотномъ и дурашливомъ стилѣ. — Г. Шмидтъ (въ «Сѣверныхъ Запискахъ»¹⁾) находитъ у И. С.

¹⁾ «Сиб. Ж.» 27 — III — 13; «Р. Утро» 16 — III — 13; «Россія» 26 — III — 13; «Русск. Знамя» 23 — III — 13; «Волгарь» 20 — IV — 13; «Одесскій Листъ» 11 — IV — 13; «Новое Вр.» 6 — IV — 13; «Недѣля Вѣстника Знанія», 23 — VI — 13.

«стремленіе къ монументальности»¹⁾; открытіе «монументальности» въ И. С. — дѣяніе достойное изысканнѣйшихъ «Сѣверныхъ Записокъ». Г. Дейчъ въ «Ежемѣсячныхъ приложеніяхъ» къ «Нивѣ» отзывается объ И. С. со всяческой похвалой — «тютчевскій пантеизмъ», «юныя, свѣтлыя пѣсни молодости» — и прочіе высокотонкіе пустяки. — Г. Невѣдомскій въ лекціи, читанной въ Баку, называлъ И. С. «мальчишкой отъ модернизма»; тотъ же самый г. Невѣдомскій, пишучи въ «Днѣ», не рѣшился обнажать передъ Петроградомъ свое остроуміе, — «И. С., при всѣхъ его ломаньяхъ — дѣйствительно талантливый поэтъ»²⁾. — Г. Пясть (на лекціи въ декабрѣ 1913 г. въ Петроградѣ) хвалилъ И. С. — Г. Тиняковъ, авторъ сборника «Navis nigra», за послѣднее время особенно склонившійся къ огульному отрицанію «механической культуры», писалъ объ И. С.: «въ самомъ дѣлѣ, не страшно ли отъ стиха Тютчева о Космосѣ дойти до стихковъ С. о моторѣ?» («День» 1 — V — 14), «позднѣйшія поэмы И. С. стоятъ совершенно внѣ поэзіи и даже внѣ литературы» («День» 26 — II — 15), «С. далеко не чуждъ хамства» («День» 18 — IV — 15) и т. д. — «Русскія Вѣдомости» (25 — X — 13) называютъ поэзію И. С. «будуарнымъ сюсюканьемъ», хотя впоследствии (довольно скоро) газета пришла къ діаметрально противоположному взгляду на С. — Г. В. Стражевъ, мелкій эпигонъ А. Блока, на лекціи въ Худож. кружкѣ счелъ И. С. «отпрыскомъ модернизма». — Великій «акмеистъ» г. Городецкій въ «Рѣчи» (25 — XI — 13) писалъ: «паоосъ поэзіи Иг. С. есть паоосъ торжествующаго мѣщанина». — И. В. Игнатьевъ (въ августѣ 1913 г.) говоритъ: «боимся, что кубокъ С. выпить до дна». — Г. Изгоевъ («Одесск. Л.» 19 — II — 14) назвалъ И. С. «крупнымъ талантомъ». — Г. Гумилевъ въ «Аполлонѣ» (№ 1 — 2 за 1914 г.) писалъ: «И. С. дѣйствительно поэтъ, и къ тому же поэтъ новый». — Небезынтересна статья г. Амфитеатрова объ И. С. («Человѣкъ, котораго

¹⁾ «Сѣв. З.» 1913, № 12.

²⁾ «День» 1913, № 167.

жаль» — въ «Русскомъ Словѣ»). Г. Амфитеатровъ, человекъ стараго закала, къ поэзии до спхъ поръ, если не ошибаемся, касательства не имѣвший, если не считать его «сатирическаго» акаонста графу Витге, весьма развязно изругалъ Сѣверянина. Мотивировокъ искать и не стоитъ — вся же статья есть сплошное зубоскальство и издѣвка. Скучно, пошло и неумно. Неумно настолько, что даже «Южный Край» (23 — V — 14) счелъ необходимымъ заступиться за Сѣверянина, говоря: «съ такимъ отношеніемъ къ поэзии можно поэта подвергать не критикѣ, а пыткамъ въ застѣнкѣ, что г. Амфитеатровъ и дѣлаетъ съ большимъ искусствомъ». — Д. С. Мережковскій («Р. Сл.» 8 — VI — 14) называетъ стихи И. С., хотк и въ шутку, увлекательными; позднѣе, однако (мѣсяца, черязъ два), г. Мережковскій въ томъ же «Русскомъ Словѣ» приравнялъ футуризмъ, а съ нимъ и И. С. къ «грядущему хаму».

Позднѣйшія книги И. С. вызвали не разъ ошибочное къ себѣ отношеніе. По обилію въ нихъ слабыхъ, Плещееву подобныхъ стиховъ, газетные критики считали ихъ «своими» и расхваливали ¹⁾. Г. Бурнакинъ, достойный преемникъ Буренина, не разъ писалъ объ И. С. въ «Новомъ Времени», но такъ какъ о г. Бурнакинѣ и вспоминать неприлично, то мы воздержимся отъ цитатъ. — «Голосъ Юга» (5 — II — 14) считаетъ И. С. талантливымъ. — «Одесскія Новости» (13 — II — 14) просто захлебываются отъ восторга; но вотъ въ Майкопѣ (Куб. обл.), думаютъ, что «изъ автора (И. С.) могъ бы выработаться поэтъ прекрасный, если бы.... и т. д. («Майкопск. газ.» 22 — XII — 13); въ Хабаровскѣ (29 — I — 14) полагаютъ, что И. С. недостаточно грамотенъ; въ Харьковѣ («Южн. Кр.» 25 — II — 14) пишутъ, что «стихи И. С. звучны и образны»; въ Самарѣ («Волжск. В.» 29 — XII — 13), что у С. «хрупкій, элегантный, очаровательный стихъ»; тогда какъ въ Воронежѣ («Ворон. Тел.» 13 — V — 14) полагаютъ, что у

1) См. напр., «Уральск. Ж.» 25 — V — 14.

«С. странное убожество мысли». — «Раннее Утро», газета министровъ, графовъ, посланниковъ, прыщевъ крови и т. п., пишетъ, что И. С. (29 — III — 14): «белиберда, хуже дяди Михея, парикмахеръ, парфюмерный магазинъ». — «Утро» (въ Харьковѣ, — 30 — III — 14) говоритъ о С. по поводу «Златолиры»: «мальчикъ сталъ старичкомъ», но «Нижегородскому Листку» (15 — IV —), «Камско-Волжской Рѣчи» (29 — III — 14) и «Волжскому листку» (12 — IV — 14) очень нравится «Златолира». По тому же поводу «Вятская Рѣчь» (II — IV — 14) находитъ у С. «такую степень совершенства, которая роднитъ его съ великими писателями»; однако, «Одесскія Новости» (24 — III — 14) считаютъ «Златолиру» — «поминками». Въ то же время въ Хабаровскѣ («Приамурье», 1 — III — 14) считаютъ И. С. «очень талантливымъ поэтомъ»; но Харьковъ съ этимъ опять не согласенъ и говоритъ («Южн. Кр.» 27 — V — 14), что «Златолира» — «просто бѣдная книга».

V.

Третья книга И. С. вызываетъ еще меньше восторговъ, чѣмъ «Златолира»; — «Шампанское И. С. отзываетъ фальсификатомъ весьма дурной марки» («К.-Волж. Р.» 15 — III — 15); въ Ялтѣ еще боятся «декадентовъ» и причисляютъ И. С. къ нимъ; «Черниговское Слово» (28 — IV — 15) говоритъ: «И. С. собралъ въ своихъ книгахъ все, что свидѣтельствуеетъ о дурномъ вкусѣ» — всѣмъ вѣдь извѣстна великая эстетность г. Чернигова, второго по этой части вслѣдъ за Нью-Йоркомъ; «всѣ новыя стихи И. С. значительно слабѣе стиховъ Громокипящаго Кубка», говоритъ «Новая Жизнь» (III — 15). — «Ананасы въ денатуратѣ!» — кричитъ «Голосъ Москвы» (14 — IV — 15), «Ананасы въ ханжѣ!» поправляетъ болѣе освѣдомленный «Голосъ Жизни». «Апухтинъ № 2!» заявляетъ «Утро Россіи» (1 — III — 15); «кафешантанная будни», вопитъ г. Кранихфельдъ («Совр. Сл.» 1 — I — 15). — «И. С. принадлежитъ къ числу наиболѣе яркихъ безполезностей», фини-

шируетъ почтеннѣйшій проф. Н. Э. Сумцовъ («Южн. Кр.» — 28 — V — 15).

«Въ Victoria Regia С. пародируетъ самого себя», говоритъ харьковское «Утро» (28 — IV — 15); однако «Утро Юга» (III — 15) и тутъ находить у С. «всепобѣждающую молодость».

Далѣе уже явственныя курьезы. — «Кіевлянинъ» (17 — V — 13) пишетъ: «когда «поэты» въ родѣ К. Бальмонта и Иг. С...» или (3 — V — 13): «въ области литературы подвизаются Арцыбашевы, Вербицкія, Солл(?)огубы. Въ области поэзін (поэзія, очевидно, не литература??) — Игоря Сѣверянина и Ивана (?) Крученые (?)». — «Вѣстникъ Знанія». этотъ лауреатъ невѣжества, мямлитъ, что - то Тредіаковскомъ и противупоставляетъ И. С., какъ недостойный для него идеаль, — какого-то «самобытнаго» поэта-рабочаго... — «Извѣстія г-ва Вольфъ», прозѣвавши купить у И. С. во время его книги, заявляютъ, что С.: «явленіе не совсѣмъ здоровое» (№ 5 — 1914). — Въ Одессѣ полагаютъ, что И. С. подражаетъ Верлену («Од. Нов.» 18 — I — 14). — Газетчикъ г. Вильде называетъ С. «эго-писаремъ», (увы намъ! какъ же послѣ этого назвать г. Вильде??). — Извѣстный своими трудами по дидактикѣ, послѣдователь Лао-Си, г. Арк. Буховъ, ахаетъ: «понимаете вы, вѣдь это литературный ужасъ: И. С. расхочится сейчасъ 6-мъ изданіемъ» («П. Кур.» 4 — III — 14) и т. д.

Это — все.

Сдѣлаемъ кое какіе подсчеты. — Критики-профессіоналы порицали И. С. 4 раза и хвалили 14 разъ; критики-писатели порицали 9 разъ и хвалили 9 разъ; публицисты порицали 3 раза и хвалили 7 разъ; газетчики порицали 54 раза и хвалили 21 разъ. Всего: 70 порицаній и 51 похвала. Въ процентахъ эти числа — 57,85% и 42,15%, т.е. приблизительно одинаковы. — Цифры эти, конечно, приблизительно, такъ какъ мы подсчитывали не все, но въ общемъ онѣ даютъ правильное представленіе объ отношеніи критики къ Игорю Сѣверянину.

Попробуемъ теперь какъ-нибудь осмыслить, систематизировать всю эту массу мнѣній.

Мы исходимъ, вообще говоря, изъ того положенія, что Игорь Сѣверянинъ, дѣйствительно и несомнительно, истинный поэтъ, высокоодаренный, какъ техникъ, и новъ въ томъ смыслѣ, что далъ намъ нѣкій синтезъ Фету и Тютчеву подобнаго модернизма съ болѣе простыми поэтами, какъ Случевскій, Фофановъ, Лохвицкая и даже (въ этомъ нѣтъ ничего страшнаго съ точки зрѣнія историко-литературной) Апухтинъ и Надсонъ. Сѣверянинская «мѣщанская драма»¹⁾ не есть, конечно, его собственное изобрѣтеніе, но, — почерпывая содержаніе оной непосредственно у только что перечисленныхъ нами поэтовъ, Сѣверянинъ подходилъ здѣсь весьма близко къ Александру Блоку (сравн., напр. «Мѣщанское житіе» Блока въ его книгѣ «Земля въ снѣгу»), Андрею Бѣлому («Пепель»), прикоснувшихся къ этому роду творчества, такъ сказать, съ другого конца.

И вотъ, — представьте себѣ — стихотворецъ съ такимъ, до извѣстной (очень небольшой) степени, оригинальнымъ habitus'омъ, необычность коего усугубляется множествомъ неологизмовъ, любовью къ многостопнымъ, длинноточнымъ стихамъ, дающимъ зачастую впечатлѣніе не стиховъ, а ритмической прозы, массой ассонансовъ и составныхъ ритмъ — неожиданно оказавшійся поэтомъ съ самыми простѣйшими сюжетами, появляется передъ критикой.

У критика-профессіонала, критика-публициста въ большей степени и у критика-газетчика въ еще большей степени имѣется разъ навсегда установленное, штага такого-то года, представленіе о лирикѣ, ея достоинствахъ, о благородствѣ

¹⁾ Читателю, конечно, извѣстно, что выраженіе «мѣщанская драма» не есть ругательство, какъ думаютъ газетчики, но представляетъ собой своего рода credo англійской литературной школы конца XVIII и начала XIX вѣковъ.

поэта и т. д. Критикъ ждетъ отъ стиховъ какого бы то ни было автора однихъ и тѣхъ же, ему привычныхъ и чуть ли не прописанныхъ въ его критиковомъ паспортѣ, эмоцій, а разъ таковыхъ на лицо нѣтъ, то ему ничего не остается, какъ только подобрать наиболѣе подходящее по его мнѣнію ругательство и напечатать его по возможности наиболѣе крупнымъ шрифтомъ — вставить это ругательство въ заглавіе статьи, напримѣръ. Этой способностью критики, этимъ главнымъ ея качествомъ и объясняются появившіяся до «Громокипящаго Кубка» ругательства Измайлова и многихъ другихъ. Но вѣдь тотъ же самый Измайловъ, тыкавшій Сѣверянину въ носъ какой-то «бодрый модернизмъ», ругалъ и поносилъ самымъ непристойнымъ образомъ тѣхъ же символистовъ, куда они не пробилась! ¹⁾ Этимъ же объясняется и такіе курьезы когда какойнибудь Арк. Буховъ, напримѣръ, осмѣливается вопить о мѣщанскомъ міросозерцаніи Игоря Сѣверянина, а газетчики, прошедшіе огонь, воду и мѣдныя трубы, «прямыми Чильдъ-Гарольдами» встаютъ на защиту поруганной Игоремъ Сѣверяниномъ Полигимніи.

Единственной порядочно критикой явилась критика писателей. Въ ней нѣтъ ни злопыхательства, ни издѣвокъ, а прямое доброжелательство къ новому таланту. И Гумилевъ, и Брюсовъ, и Сологубъ и Ходасевичъ и даже въ концѣ-концовъ Кречетовъ не пробовали ругаться и плевать. Критика Мерещковскаго, Крайняго, Тицякова явственно партійна и этимъ соображеніемъ легко отводится. Ругня господина Городецкаго, давно уже вылетѣвшаго изъ литературы въ газетку, по этому самому не заслуживаетъ никакого вниманія. Подмигиванія старичковъ изъ богадѣленъ и пансіоновъ, въ родѣ «Современнаго Міра», «Сѣверныхъ Записокъ» и т. п. также малоинтересны.

И немедленно вслѣдъ за критикой писателей остальная критика поспѣшила раскланяться передъ Игоремъ Сѣверяниномъ. Настолько прочно осѣла въ сознаніи критики высокая

оцѣнка Сѣверянинской музы писателями, что она не рѣшалась ругать даже явственно слабыя книги Сѣверянина, что случилось съ Измайловымъ, расхвалившимъ «Златолиру».

Вотъ прекрасный и наглядный урокъ публикѣ, — указующій кому изъ критиковъ она должна вѣрить — гіенамъ ли профессионаламъ, юридивымъ ли публицистамъ, хулиганамъ ли газетчикамъ — или экспертамъ-специалистамъ, людямъ, любящимъ глубоко литературу — писателямъ.

Сергій Бобровъ

¹⁾ См. хотя бы «Бирж. Вѣд.» 1901, № 140.

РЕЦЕНЗИИ

ПАМЯТИ К. М. ФОФАНОВА

Очень часто посещалъ молодой поэтъ Игорь Сѣверянинъ К. М. Фофанова и читалъ свои произведенія.

К. М. не разъ говорилъ намъ:—«Изъ этого молодого чело-вѣка выработается со временемъ крупный поэтъ, если онъ не свернетъ съ намѣченной дороги. Мнѣ онъ страшно нравится за его искреннюю, неподдѣльную любовь къ покойной Миррѣ Лохвицкой, съ которой онъ даже не былъ знакомъ, а полюбилъ ее только по ея произведеніямъ».

И, дѣйствительно, стихотворенія Сѣверянина, посвященныя памяти этой поэтессы, были очень хороши.

Слова К. М. оказались пророческими, такъ какъ Игорь Сѣверянинъ, точно такъ же, какъ и старшій сынъ Фофанова, потихоньку отъ отца, изъ боязни его критики, по ночамъ читавшій мнѣ свои довольно недурныя произведенія, рѣшили основать школу футуристовъ.

П. Петропавловскій.

„Голосъ“, № 113, 1913 г.—17/V
г. Ярославль.

* * *

ИГОРЬ СѢВЕРЯНИНЪ.—КЪ ВЫХОДУ ВЪ СВѢТЪ ЕГО «КАЧАЛКИ ГРЕЗЕРКИ»

И дань нужна со всѣхъ міровъ вселенной,
Чтобъ мой сплести мистическій вѣнокъ!
Забытый блескъ прославленной Пальмиры,
Богатства горъ и глубины морей,
Всѣ перлы ихъ, алмазы и сапфиры,
Потонуть въ мигъ, въ огнѣ его лучей!
Онъ будетъ свить не смертными руками,
Изъ чистыхъ струй нездѣшняго огня,
Того огня, передъ которымъ пламя
Людскихъ очей, лампы въ блескѣ дня.

Шарль Бодлеръ. «Благословеніе» (изъ цикла «Сплинъ и Идеалъ»).

Эти чудныя слова — душевный свѣтъ прошенья неистовымъ врагамъ, горящій въ душѣ благочестиваго поэта. Шатенный трубадуръ, отецъ російской эго-поэзии, ядро отечественнаго футуризма — Игорь Сѣверянинъ — уже и теперь достоинъ вѣнчанія вѣнкомъ мистическимъ, ибо «дань со всѣхъ міровъ вселенной» претворяется имъ съ каждой новой эдиціей все болѣе и болѣе успѣшно, чаруя новыми, неизсякаемыми запасами красотъ Слова...

Но «нѣсть пророка въ отечествѣ своемъ» — приходится цитировать вѣковую, вѣчно юно-старую истину. Какая дань получена нашимъ Сѣвернымъ Бардомъ? Критика? Безсмысленная, мелкая, дегутантная травля профано-пигмеями крылатаго колосса вызываетъ въ душѣ каждаго интеллектуальнаго субъекта ощущение непріятнаго осадка горечи, обиды зародной, титанической талантъ, вмѣстѣ съ ощущеніемъ подобно тому, какое чувствовалось бы при видѣ персонажей этой траги-комедіи — геростратовъ журналистики, ведшихъ еще вчера конюшенныя знакомства ради репортажа въ отдѣлѣ «Спортъ и Фавориты», а сегодня цѣпляющихся грязными, звѣриными лапами за литературныя перья, — геростра-

товъ, воспроизводящихъ коллективныя попытки загрязнить свѣтлыя воды Великаго Океана.

Выше я назвалъ травлю Игоря Сѣверянина траги-комедией. Дѣйствительно. Величайшей трагедіей современнаго литературнаго періода была бы непонятность творца тридцати трехъ крестовъ, замыкающихъ четыре тома. Многие, даже изъ числа компеентовъ, такъ и полагаютъ: Сѣверянинъ недоступенъ для воспріятія его. О, далеко нѣтъ. Его quo представляется въ слѣдующемъ видѣ. Старые ветераны литературы, потерпѣвъ пораженіе въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики, перемѣнили стяги. Уходитъ «старая школа»... Рядъ фіоритуръ... Выдвинулись на передовыя позиціи «исты». И закипѣлъ бой, бой перемѣннаго счастья, кратковременныхъ, но сладкихъ диктаторствъ.

И вотъ теперь, когда ослабѣли силы т. н. «молодыхъ»,— всѣхъ этихъ Бальмонтовъ, Блоковъ, Городецкихъ, Кузьминыхъ, Кречетовыхъ, Цензоровъ и т. п. «милостивыхъ государей» стиха,—теперь, когда они съ завистью во взорѣ робко озираются назадъ и безпокойно вглядываются въ туманную даль грядущаго,—передъ ихъ взглядами вырисовываются новыя, золотыя, вѣчныя слова—Футуризмъ.—«Пробьетъ и ваша часъ!»—доносится чей-то голось послѣдняго отчаянія.—«Принудятъ уйти и васъ!»—Нѣтъ!—твердо звучитъ отвѣтность.—Мы даемъ просящему хлѣба—хлѣбъ, а не камень. Мы не принимаемъ сусальный картонъ за червонное золото. Придетъ время, но мы не умремъ. Мы перевоплотимся въ Новую Грань!...

Ближе... ближе побѣдное шествіе, оначаленное сосѣтерами ректоріата Академіи Эго-Поэзіи и Игорь Сѣверянинъ—первосвященникъ, верховный жрецъ ея...

А геростраты, прикидываясь недорослями для воспріятія его, забрасываютъ его камнями, пользуясь тѣмъ, что чело ихъ украшено толпой розами Тріумфа. Пошлая кукольная комедія! Уничтоженные лилипуты, зрящіе не дальше своего собственнаго носа! Въ мизерности своей они не могутъ видѣть, что всѣ «перлы» ихъ потонуть въ мигъ въ огнѣ его

лучей. «Передъ его тіарой» изъ чистыхъ струй «нездѣшняго огня» вѣнцы уходящихъ тривіаловъ, вмѣстѣ взятые, только мигая лампада въ блескѣ дня.

Лири Игоря Сѣверянина настроена въ высокихъ тонахъ—какъ и сама Правда. Струны-звуки смѣлы, какъ слова Истины. Слово неизмѣримость бездны океанной стихіи—глубокъ смыслъ Сѣверяниновыхъ гимновъ жизни, бытію, великому, прекрасному, доброму Богу. Его мелодія—пѣснь солнца, русской Весны, молодости.

Его риѐма—изысканно-кристальна, словно звѣзды сѣвернаго небосвода, изрѣдка прорѣзаемаго ассонансными дерзобезумьями. Ради ассоціаціи всего этого невольно прощаешь слабую сторону—самотитуляцію до «его свѣтозарности».

А какъ дерзновенно-красивъ онъ, когда, смѣнивъ Элову цѣвницу на Скорпионовы бичи, клеймитъ кровавыми, нещадно-глубокими, идущими до самаго сердца ранами.

И ея сіятельство, имѣющая душу душистую, очень удобную для проституттокъ и для королевъ. И бальзако-лѣтнюю звѣзду Амьенскаго бомонда, риѐмующуюся звучиѣе всѣхъ съ резедой Bronze-oxidé, блондинку Эсклармонду, ту, что остра, какъ квинтъ эссенца специй,

Въ любовники беретъ господъ съ трапеціей
И, такъ сказать, смакуетъ мезальянсъ...
Условностямъ всегда бросаетъ:

Shocking!

Экстравагантно выпускаетъ лифъ,
Лорнируетъ базарно каждый смокингъ,
Но не во всякомъ смокингѣ калифъ...
Какъ устрицу глотаетъ съ аппетитомъ
Дежурнаго огейзерную давь...
При этомъ всемъ—со вкусомъ носить титулъ,
Иной щека даря свою ладонь!

И призраковъ сѣраго Мизера—Будне—Трясины, всасывающей, тушащей своими ядовито-убійственными испареніями всѣ живые огни.

И даже родную страну, неприявшую его,

Гдѣ вкусъ такъ жалокъ и измельченъ,
Что даже—это-ль не примѣръ?
Не знаютъ, какъ двусложьемъ Мельшинъ
Скомпрометированъ Боллеръ,—
Гдѣ блескъ и звонъ карьеры — рубль
А паспортъ разума — дипломъ;
Гдѣ декадентомъ названъ Врубель
За то, что гений не въ быломъ...

Нѣкоторая доза интуиціи нужна для de voir venir
лишь при чтеніи поэзы «Увертюры»,—открывающей «Качалку
Грэзерки»:

Какъ мечтать хорошо Вамъ
Въ гамакѣ камышевомъ
Надъ мистическимъ окомъ, надъ безтиннымъ прудомъ...
Все на свѣтѣ возможно, все для Васъ ничего!
...Качнетесь Вы къ выси,
Гдѣ мигающій бисеръ,
Вы постигнете тайну: вѣчной жизни процессъ.
И мечты сюрпризерки
Надъ качалкой Грэзерки
Воплотятся въ капризный, но бессмертный эксцессъ.

Послѣдняя строфа можетъ, пожалуй, служить резюме
всѣхъ критическихъ дессинаціевъ о Игорѣ Сѣверянинѣ.

Да, для лиризы «Балькисъ и Валтасаръ» (по Анатолію
Франсу).

Сѣверянинъ мобилизуетъ своими аккордами міровыя
недвижности. И правъ онъ, говоря, что онъ крылатъ. И за
Атлантъ,

Настанетъ лень—полететь лава—
Моя двусмысленная слава
И недвусмысленный талантъ.

Насколько тонко понимаетъ онъ палача-эстета, за кра-
соту покараннаго Оскара Уайльда!

Его душа—заплеванный Грааль,
Его уста—оросенная язва...
Такъ ядо-смѣхъ смѣняла скорби спазма,
Безъ слезъ рыдалъ иронящій Уайльдъ...

Щедритъ причудами оборотовъ рѣчи, прошедшей черезъ
реторту его вдохновенности (Нѣжное дыханье... Сафаръ...
Кризантемы...)

Онъ и сейчасъ въ правѣ ретурнировать библейское—
«Остановись, солнце!»

— Идите, стоящіе! Живите, мертвые! Явитесь, небулозы!
И слова его вызываютъ великій реактивъ, ибо Игорь Сѣве-
рянинъ—избранникъ, отмѣченный Богомъ, надѣленный да-
рами гения, умомъ орла, величьемъ короля, ритмомъ великаго
бога Олимпійскаго.

И. В. Игнатъевъ

* * *

КРАСАВИЦА, НЮХАЮЩАЯ ТАБАКЪ

...Черезъ извѣстные сроки въ редакцію приходили ма-
ленькія тоненькія брошюрки стиховъ, иногда всего въ 8—10
страничекъ. Редакторъ бралъ ихъ, мѣтилъ, посыпалъ пе-
пломъ смѣшные, вычурные, нелѣпые стихи, и, улыбаясь, вру-
чалъ соответственному сотруднику.

— Игорь Сѣверянинъ опять прислалъ стиховъ. Будетъ
охота,—отмѣйте.

На утро въ газетахъ появлялись курьезныя цитаты:

... Чтобъ ножки не промокли ихъ надо окалошить...
... Онъ готовъ осупружиться, онъ рѣшился на все...
... О, Лилія ликеровъ, о, Crème de Violette!
... Я выпилъ грезъ фіалокъ фіалковый фіаль...
... Я приказалъ немедля подать кабріолетъ,
И сѣлъ на сѣромъ кленѣ въ атласный интервалъ...
... Офіалченъ и одиліенъ озерзамокъ Мирры Лохвицкой.
Лиловъютъ разнотонами станы тонкихъ поэтессъ...
Не доносятся по озеру шумы города и вздохъ людской,
Оттого что груди женскія тутъ не груди, а дюшесъ.
... Цилиндры солнцевѣютъ, причесанные лоско,
И дамы туалеты пригодны для витринъ.
Смѣется куртизанка. Ей вторитъ солнце броско,
Какъ хорошо въ буфетѣ пить кремъ-де-мандаринъ!...

... Я сливочнаго не имѣю, фисташковос все распродалъ...
Ахъ, граждане, да неужели вы требуете кремъ-брюлле?
Пора популяризировать изыски, утончиться вѣкусамъ народа,
На улицу спеши кухонь, огимнивь экснессъ въ вѣрзле...

Пародисты глумились надъ поэтомъ, который себя окалошилъ, обрючилъ и оперчаточилъ.

Фельетонисты совѣтовали писать на вывѣскахъ: «Дамій портной» и внушали поэту величайшую осторожность обращенья съ грудью красавиць, напоминающую дюшессъ. Литературные обозрѣватели находили, что поэтъ, сѣвши въ атласный интервалъ, въ сущности, сѣлъ между двухъ стульевъ и вызываетъ къ жизни забытыя глупости перваго декадента Емельянова-Коханскаго.

✓ Въ брошюркахъ были сердечныя, нѣжныя пѣсни, — чудачества заслоняли ихъ, и ихъ не замѣчали.

Курьезы нанизывались одинъ за другимъ на имя Игоря Сѣверянина, и имя запоминалось и становилось чудаческимъ.

А поэту это точно нравилось, и онъ подливалъ масла въ огонь.

На обложкахъ брошюрокъ онъ печаталъ анонсы, отъ которыхъ вѣяло претензіями истинной маніи величія. Онъ назначалъ время, когда принимаетъ редакторовъ, издателей, литераторовъ, композиторовъ, художниковъ и артистовъ.

— «Начинающихъ поэтессъ и поэтовъ, такъ часто обращающихся ко мнѣ за совѣтами, я съ удовольствіемъ принимаю по воскресеніямъ отъ — до».

«Устроители концертовъ и читатели принимаются мною по пятницамъ отъ — до — »

«Интервьюеры могутъ слышать меня по субботамъ отъ — до. — »

У брошюрокъ были пестрые и кричащіе названія и подзаголовки: «Электрическіе стихи», «За струнной изгородью лиры», «Апоѳеозная тетрадь третьяго тома». Въмѣсто Петербурга внизу стояло: «Столица на Невѣ».

А, между тѣмъ, уже подходилъ рецедивъ комическаго времени на Руси. Горсточка молодыхъ людей открывала игру

въ футуризмъ. Ей ничего не стоило провозгласить И. С. своимъ мэтромъ. По редакціямъ и по квартирамъ писательской братіи она разослала летучіе листки, гдѣ пѣла его славу и объявляла о майскихъ праздникахъ гдѣ-то на лонѣ природы, гдѣ будутъ устроены «кіоски уединенія».

И опять газеты смѣялись, что устройство кіосковъ предусмотрительно, — отъ Петербурга до мѣстности далеко.

Брошюрки И. С. перешли на четвертый десятокъ. Поклоняемый и славимый въ своей кучкѣ, поэтъ и самъ увѣровалъ въ свое величіе. Въ послѣдней тетрадкѣ онъ былъ исполненъ откровеннаго надменія:

Я прогремѣлъ на всю Россію,
Какъ оскандаленный герой.
Литературнаго Мессію
Во мнѣ привѣтствуютъ порой...
...Я, гений Игорь Сѣверянинъ,
Своей побѣдой упоенъ:
Я повсеградно оэкраненъ
Я повсесердно утверждёнъ.
Отъ Баязета къ Порть-Артуру
Черту упорную провелъ.
Я покорилъ литературу,
Взорлилъ, гремящій, на престоль...

Упоенный побѣдой, онъ, однако, недоумѣвалъ предъ недостаточностью признанія:

Я самъ себя боюсь признаться,
Что я живу въ такой стравѣ,
Гдѣ четверть вѣка центритъ Надсонъ
А я и Мирра—въ сторонѣ.

Съ видомъ человѣка, смертельно пресыщеннаго славой, онъ писалъ, обращаясь къ свѣтилу модернизма:

Я такъ усталъ отъ лъстивой свиты
И отъ мучительныхъ похвалъ!..
Мнѣ скученъ королевскій титулъ,
Которымъ Богъ меня вѣнчалъ.

Вокругъ талантливые тусы
И обнаглѣвшая бездарь...
И только вы, Валерій Брюсовъ,
Какъ вѣкій равный государь...

Однажды Фофановъ пришелъ въ редакцію въ сопровожденіи молодого, стройнаго, симпатичнаго человѣка, безбородога и безусаго, держащагося со свѣтской выправкой, скромно и спокойно.

Онъ былъ безъ кудрей до плечъ, ничто не подчеркивало въ его наружности званія поэта, въ глазахъ свѣтилось своя тихая дума, далекая отъ предмета случайнаго сейчасъ разговора.

— Познакомьтесь: Игорь Сѣверянинъ. Поэтъ. Очень талантливый, очень талантливый, — заговорилъ своей нервной, заикающейся скороговоркой Фофановъ. — Мы на-дняхъ вмѣстѣ снимались. Я вамъ принесу карточку.

Огромный и прекрасный талантъ, Фофановъ былъ щедръ на признаніе дарованій въ начинающихъ. Такъ красавица, спокойно, не боясь соперницъ, восторгается женскимъ лицомъ, почти лишеннымъ всякой прелести. Было видно, что Фофановъ полюбилъ этого юношу. Онъ былъ Наоанаилъ, въ которомъ не было лести, и если онъ кому-либо выказывалъ свою любовь, то дѣйствительно любилъ его. Игорь Сѣверянинъ платилъ ему явнымъ обожаніемъ, и я могъ видѣть, что смерть Фофанова потрясла его. Когда К. М. хоронили, И. С. вышелъ къ могилѣ и прочелъ простые, но задуманные и тогательные стихи:

Милый вы мой и добрый! Вѣдь, вы такъ измучились —
Отъ вѣчнаго одиночества, отъ одиночнаго холода...
По своей принцессѣ лазоревой, по Мечтѣ своей соскучились:
Сердце-то было весело, сердце-то было молодо!
Застѣчивый всегда и ласковый, вѣчно вы тревожились,
Пѣли почти безразумно, — до самозабвенія...
Съ каждой новой пѣснью ваши страданія множились,
И вы, — о, я понимаю васъ! — страдали отъ вдохновенія...
Вижу вашу улыбку, сквозь гробъ меня озаряющую,
Слышу, какъ Божьи ангелы говорятъ вамъ: „добро пожаловать“.

Господи! прими его душу, такъ невыносимо страдающую!
Царство тебѣ небесное, дорогой Константинъ Михайловичъ!..

Въ тѣ печальные дни мы часто встрѣчались съ И. С., но оба обходили то, что для обоихъ было наиболѣе интереснымъ, — его писательство. Насъ разъединяла одна невыясненная мысль, и до ея выясненія можно было вести только пустой, посторонній разговоръ. Мнѣ хотѣлось сказать ему:

Зачѣмъ вы, талантливый человѣкъ, избираете къ извѣстности пути чудачества? У васъ поэтическая душа, васъ, въ гробъ сходя, благословилъ Фофановъ. Зачѣмъ вамъ нужно окалошивать ножки, сидѣть въ атласномъ интервалѣ, огимнивать эксцессы въ вирэе? Вѣдь, ничего этого не было у учителя, котораго вы обожали. Зачѣмъ вамъ ширококовѣшательные анонсы о пріемахъ интервьюеровъ, которые никогда васъ не посѣщали, и напыщенные стихи о лстивой свитѣ, которой у васъ нѣтъ? Зачѣмъ вамъ, вообще эта ложь, фальшь, косолопная ходули, пестрые штаны съ бубенчиками, весь этотъ благой матъ, если у васъ поэтическая душа, и вы можете писать хотя бы вотъ такіе прелестные, трогательные, личные стихи, похожіе на плачь большаго ребенка, гдѣ просто не хочется замѣчать двухъ-трехъ неправильностей и сры-вовъ, какъ не хотѣлось ихъ замѣчать у Фофанова:

Ты ко мнѣ не вернешься, даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки, въ родѣ крола;
У тебя теперь дачи, за обѣдомъ — омары,
Ты теперь подъ защитой воронова крыла...
Ты ко мнѣ не вернешься: на тебѣ теперь бархатъ;
Онъ скрываетъ безкрылье утомленныхъ плечей...
Ты ко мнѣ не вернешься: предсказатель на картахъ
Погасилъ за цѣлковый вспышки позднихъ лучей!...
Ты ко мнѣ не вернешься, даже... даже проститься,
Но надъ гробомъ обидно ты намочишь платокъ...
Ты ко мнѣ не вернешься въ тихомъ платѣ изъ ситца,
Въ платѣ радостно жалкомъ, какъ грошовый цвѣтокъ.
Какъ цвѣтокъ... Помнишь розы изъ кисейной бумаги?
О живыхъ ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мнѣ не вернешься: грезы больше не маги, —
Я умру одинокимъ, понимаешь ли ты?!..

Но между нами стояла свѣткость, и я никогда не ска- залъ ему, что думаль.

Онъ могъ возразить мнѣ, что вовсе не интересуется мо- имъ мнѣніемъ, и, вѣдь, не говоритъ же онъ мнѣ, что ему не нравится въ моихъ статьяxъ...

И вотъ съ Игоремъ Сѣверяниномъ совершилось счастли- вое чудо. Его «поэзы» изданы отдѣльной книгой — «Громо- кипящій кубокъ».

Сологубъ написалъ къ ней ласковое предисловіе. Ее всѣ замѣтили. Многіе критики привѣтливо говорятъ о новомъ талантѣ. Даръ И. С. оцѣненъ многими даже выше стоимости. И. С. сталъ въ то счастливое, но и опасное положеніе, когда уже выслушиваютъ все, чтобы онъ не написалъ.

Гдѣ же истина объ этомъ новомъ поэтѣ, котораго до сихъ поръ знали только по чудачествамъ? И. С., конечно, не есть и не будетъ мэтромъ новой школы. Но его книга выходитъ въ очень удачный моментъ, когда футуристамъ, вопреки здравому смыслу, удалось создать около себя бумъ.

Всѣ курьезы, капризы, вычуры, какими И. С. прославилъ себя, кажутся цѣликомъ остались и въ сборникѣ его стиховъ. Но въ сборникѣ замѣтнѣе и тѣ дѣйствительно прекрасныя, нѣжныя, задушевные пьесы, которыя говорятъ о самомъ не- сомнѣнномъ поэтическомъ чувствованіи фофановскаго уче- ника. И ихъ не одна и не двѣ, — ихъ много. Онъ глубоко чувствуетъ, и въ наивныхъ, немного растерянныхъ, неврасте- ническихъ словахъ умѣетъ рассказывать людямъ про свою грусть, про свою оскорбленную любовь, про свое обожаніе, про плачущую дѣвочку въ паркѣ, которой жалко ласточки съ переломаной лапкой.

Въ дѣйствительно поэтическихъ образахъ онъ восприни- маетъ міръ, слышитъ въ шумящихъ кленахъ зеленые вальсы весны, видитъ въ тѣняхъ парка хоры позабывшихся мона- хинь, съ поэтической дерзостью, достойной Фофанова, пре- вращаетъ лилію въ бокаль шампанскаго. Онъ чувствуетъ и весну, и позднюю осень, «когда хромаетъ ветхій мѣсяцъ, какъ

половина колеса», а морозъ выпиваетъ лужи и затягиваетъ ихъ хрупкимъ хрустальемъ...

Все это хорошо и иногда прелестно у Сѣверянина, но какъ много рядомъ засоряющаго, безвкуснаго вычура; выду- манныхъ словъ, сравненій гостинодворца, для котораго слово «дюшессъ» выражаетъ превосходную степень! Какъ манерни- чаетъ онъ, гоняясь за призраками новыхъ словъ! Какъ смѣш- но и ненужно у него вѣрить воздухъ, утѣетъ и денѣтъ комната, и женскія ножки «молоточать» паркетъ!

Какой привскокъ чувствуется во всѣхъ его глаголахъ — лунѣтъ, якорить, юлить, весениться, разузорить, ажурить, вуалить, офіалить, беззвучить, оэкранить, офлерить, обрильян- тить, онездѣшниться; въ его прилагательныхъ — балзакофѣт- ній, клюковый, эстетный; въ его нарѣчіяхъ — павлинѣво, оре- олочно, снѣгурово!

Сколько дурного вкуса въ его желаніи быть изысканно тонкимъ и галантнымъ!

«Вы такая эстетная, вы такая изящная!» — да неужели онъ не чувствуетъ, что такъ написалъ бы Епиходовъ? И развѣ вотъ это можетъ пѣть поэтъ?

Я въ комфортабельной каретѣ, на эллипсическихъ рессорахъ,
Люблю заѣхать въ златополдень на чашку въ женоклубъ,
Гдѣ вкусно сплетничаютъ дамы о свѣжихъ дрязгахъ и о ссорахъ...

Игорь Сѣверянинъ, это — красавица нюхающая табакъ, хромой принцъ, алмазъ съ отбитымъ бокомъ, джентльменъ въ пенснэ изъ польскаго золота, талантливый художникъ, по- чему-то предпочитающій писать помеломъ пестрые плакаты. Это не мэтръ и не ересіархъ футуризма, — наоборотъ, при- знаніе и любовь придуть къ нему, конечно, въ ту минуту, когда онъ оставитъ въ дѣтской всѣ эти раннія игрушки, весь этотъ ажуръ парикмахерски прифранченныхъ словъ и най- деть спокойный и честный языкъ для выраженія нѣжныхъ, наивныхъ, прелестно-грустныхъ переживаній, какія знаетъ его душа.

Не рожденный въ княжьей колыбели, онъ сдѣлаетъ тѣмъ

лучше, чѣмъ скорѣе оставить своихъ придуманныхъ принцессъ и чѣмъ скорѣе выйдетъ изъ роли купринскаго героя «Гранатоваго браслета».

Не исключительное, но своеобразное, искреннее дарованіе можетъ сдѣлать изъ него задушевнаго, нѣжнаго поэта, именно въ фофановскихъ тонахъ. Надо только перестать водить знакомство съ госпожею Пошлостью и сознать, что признаніе въ литературѣ покупается не гевальтомъ и благимъ матомъ, а только искренностью таланта. Тотъ ненастоящій, окалошеченный, орекламленный, съ 30-ю тысячами интервьюеровъ и «льстивой свитой», Игорь Сѣверянинъ остался бы только мишенью газетныхъ остротъ. Предъ настоящимъ — иная дорога, гдѣ ему говорятъ: добро пожаловать!..

А. Измайловъ

«Русское Слово». Москва
16/V 13. № 112.

* * *

ПРИНЦЕССА-ГРЕЗА.

(«Златолира» Игоря Сѣверянина).

Въ одномъ литературномъ кружкѣ зашла рѣчь о Фофановѣ. Всѣ соглашались, что трудно назвать другое имя столь явственно одареннаго небесами поэта.

— Но и нѣтъ поэта, — сказалъ старѣющей большой писатель, — который, такъ высоко взметая одно крыло, такъ часто влачилъ бы по землѣ другое. Если исключить его перлы, то объ остальныхъ стихотвореніяхъ будетъ справедливо сказать, что рѣдкое изъ нихъ не испорчено тяжелымъ прозаизмомъ, срывомъ, смѣшнымъ оборотомъ или небрежностью. Откройте наобумъ его книжку, и я поручусь вамъ за сказанное.

Захотѣли провѣрить. Достали книжку. Поэтесса, нынѣ здравствующая, раскрыла какой-то антологическій сборникъ на Фофановѣ и начала:

Отче нашъ! Царь, въ небесахъ пребывающій,
Оку незримый...

— Ну, вотъ видите, — прервалъ писатель, — «окунь незримый»! Все стихотвореніе прекрасно, но второй стихъ хоть сейчасъ въ учебникъ пѣтики, какъ примѣръ какофоніи!

У насъ, тогдашней литературной молодежи, «окунь незримый» такъ и запомнился на всю жизнь и сталъ символомъ поэтической оплошности. Если сейчасъ есть другой поэтъ, который бы такъ сильно напоминалъ Фофанова своимъ дѣйствительно поэтическимъ складомъ и вмѣстѣ изобиліемъ незримыхъ окуней, — то это, конечно, Игорь Сѣверянинъ. Второй сборникъ стиховъ его «Златолира» только-что появился на книжномъ рынкѣ.

Читая его, ломаешь руки. Боже мой, можно ли болѣе безжалостно давать самому на себя палку! Среди цвѣтовъ, настоящихъ и благоуханныхъ, какіе скверные, обмякшіе стебли, какія нелѣпныя поддѣлки изъ ржавой проволоки и полинялага коленика, какой галантерейный языкъ, какое безвкусное любительство!

Отчего же боишься ты познать метеринство?
Плюй на всѣ осужденія, какъ на подлое свинство!..
...Вонзите штопоръ въ уругость пробки,
И взоры женщинъ не будутъ робки.
Да, взоры женщинъ не будутъ робки,
И къ знойной страсти завьются тропки..
...Заказали вы «пилку», — какъ назвали вы стерлядь, —
И изъ капорцевъ соусъ, и рейнвейнскаго конусъ!..
Я хочу ошедерить, я желаю оперлить
Все, что связано съ вами, — даже, знаете, соусъ!..

Какія чудачества футуризма съ «кротами берлинства, лондонства, ньюйорчества», съ дамой, которая «приступила въ седьмомъ ряду», съ величіемъ истиннаго маньяка!

Мнѣ отдалась сама Венера,
И я всемірно знаменить!..
...О, гениальный, о, талантливый! —
Мнѣ возгремитъ хвалу народъ.

...Побѣдой гордый, юнью дерзкій,
Съ усладой славы въ головѣ,
Я вдохновенно съѣлъ въ курьерскій,
Свѣша въ столицу на Невѣ...
...Великаго привѣтствуетъ великій,
Рука моя тебѣ, собратъ Титанъ!..

Какія, наконецъ, риомы, отъ которыхъ перевернется въ гробу Минаевъ! «Есть тихій островъ, — ползетъ подъ мостъ ровъ», «былъ акварель самъ, — по сверкающимъ рельсамъ», «у бонны изъ-подъ рукъ, — каждый отрокъ», «кто идетъ, какой пикантный шагъ, — ты отдашься мнѣ на ландышахъ», «гдѣ шелковыя пихты, — слышать ихъ ты», «когда въ ростѣ лѣнь, — зелень», «схотомъ, — вздохъ о томъ», «сумракомъ полянь дыши, — рѣющіе ландыши»...

Любительство, безвкусіе, парикмахерская галантерейность, хорошій тонъ Гоппе. Но перебрасываешь страницу, — цвѣты, ароматъ, свѣжесть, зелень, солнце! Просто не вѣришь, — неужели то и другое отъ одного? Смѣется и плачетъ душа большого ребенка, совсѣмъ такая же, какъ фофановская, — ласковая, безумная, расстрепанная, наивная въ земномъ смыслѣ, натворившая веселыхъ ошибокъ и сама не знающая, какъ теперь избыть ихъ совсѣмъ невеселыя послѣдствія.

И хочется забыть все, что сейчасъ оскорбляло вкусъ, — нелѣные выверты, смѣшныя риомы, поприщинскія позы. Хочется послать къ чорту этотъ размалеванный, рекламный плакатъ, какой напялил себѣ на лопатки талантливый и интересный человекъ, почему-то думающій, что его безъ того не замѣтятъ, и подойти къ нему, — настоящему, свѣтлолицему, ясноокому, сбросившему маску, улыбающемуся сквозь слезы!..

Что большая рѣдкость, — вторая книга стиховъ Игоря Сѣверянина не слабѣе первой. И что совсѣмъ утѣшительно, — добрая половина этихъ стиховъ вовсе свободна отъ вычуровъ, отъ словъ «новодѣловъ», которыми поэтъ доселѣ щеголялъ, какъ деревенская модница мѣдными серьгами. Ахъ, это опять нужно было только для того, чтобы его замѣтили! Конечно, онъ бросить все это, — вотъ уже бросаетъ! — сознавъ, что

прелесть поэзіи въ искренности, въ пламени сердца, въ само-бытности поэтического облика, и что внезапно родившійся къ мѣсту неологизмъ такъ же прекрасенъ, какъ постылы всѣ эти вымученные кренделя — «дѣвно, журчно, ошедевить и рондовить».

Какъ хорошо, что есть возможность видѣть иногда Игоря Сѣверянина одного «подъ смоковницей», подъ сиренью, не въ толпѣ, для которой онъ такъ оттопыриваетъ вѣки и которой выдаетъ себя за царя Марсельезы. И когда онъ бросаетъ свой бутафорскій скипетръ и порфиру съ нарисованными клеевой краской соболиными хвостами, вы видите въ немъ своего брата, сына вашего вѣка, милаго фантазера-поэта, искренно смѣющагося, тоскующаго, плачущаго, счастливаго тѣмъ, что нравящаяся женщина согласилась поѣхать съ нимъ въ осенній боръ или сѣла около него, качающагося въ гамакѣ. «А теперь, пока листвѣютъ клены, ласкова улыбка, и мягка, посиди безмолвно и влюбленно около меня, у гамака... Раскачни мой гамакъ, подкачни, — мы съ тобою вдвоемъ, мы одни. И какое намъ дѣло, что тамъ, — гдѣ-то тамъ не сочувствуютъ намъ!»...

Но чаще онъ печаленъ. Ахъ, у него были такія ошибки, такія непоправимыя ошибки!

Объ вы мнѣ жены, и у каждой дѣти, —
Дѣвочка и мальчикъ, — оба отъ меня.
Дѣвочкина мама съ папой въ кабинетѣ, —
О другой не знаю тысячу три дня...
Дѣвочкина мама, — тяжело ль ей легко ли, —
У меня, со мною, цѣликомъ во мнѣ.
А другая мама гдѣ-то тамъ, на волѣ,
Можетъ-быть, на морѣ, можетъ-быть, на днѣ.
Но ея ребенокъ, маленькій мой мальчикъ,
Матерью пристроенъ за три пятьдесятъ...
Кто же поцѣлуетъ рта его коральчикъ!..
Что же я, — невиненъ или виноватъ?
Ахъ я взялъ бы, взялъ бы крошку дорожого,
Миленькаго дѣтку въ тѣсный кабинетъ!..
Дѣвочкина мама! Слово, только слово!..
Это такъ жестоко: ты ни да, ни нѣтъ!..

Ахъ, если хотите правды, онъ вовсе не король Марсельезин!
Никакія герцогини не шлютъ ему яблоковъ изъ своего сада
съ золочеными пиками! Онъ самый обыкновенный человѣкъ,
самымъ обыкновеннымъ образомъ потерявшій ту, которую
когда-то любилъ.

Семь лѣтъ она не писала,
Семь лѣтъ молчала она.
Должно-быть, ей грустно стало,
Но, впрочемъ, теперь весна...
Въ ея письмѣ ни строчки
О нашей горькой дочкѣ,
О тоскѣ, о тоскѣ,—
Спокойно перо въ рукѣ.
Письмо ничѣмъ не дышитъ,
Какъ вечеръ въ октябрь.
Она безстрашно пишетъ
О своей сестрѣ.
Меня настойчиво проситъ
Сестры ея не бросить:
«Вѣдь, вашъ отъ нея сынъ
Покинутъ. Одинъ, одинъ».
Ахъ, что же я отвѣчу,
И надо ль отвѣчать?..
Но сегодняшній вечеръ
Будетъ опять, опять...

Поэтъ пилъ не одно шампанское изъ лилій. Онъ хлебнулъ
и изъ кубка подлинной земной печали, и потому такъ хорошо
понимаетъ и смѣшное горе Эеклы, пишущей несуразное
письмо своему милому, и смертную усталость молодой портнихи.

Заклевали меня, ободгали. Изъ веселой когда-то, изъ смѣлой
Стала я отъ любви безысходной мокрой курой и душой для всѣхъ...
Пожалѣй же меня, мой уклюжій! Полюби же меня, мой умѣлый!
Разгрѣшилась на дѣвкѣ деревня,—значить, дѣвку попутаетъ грѣхъ.

.....
Ты приходишь невеселая, утомленная, угасшая
И сидишь въ изнеможеніи безъ желаній и безъ словъ...
Развернешь газету,—хмуришься, отъ себя ее отбрасывая:
Тутъ уже не до политики, тутъ уже не до баловъ...

...Въ мастерской—отъ вздорныхъ дѣвочекъ—шумъ такой же,
какъ на митингѣ,
Голова болитъ и кружится—отъ болтливыхъ мастерицъ...
Не мечтать тебѣ, голубушка, о валькиріяхъ, о викингѣ:
Наработаешься за день-то,—къ вечеру не до царичъ!..

Что есть поэтъ? Неприкаянная душа, что бродитъ въ мірѣ,
всѣхъ жалѣя, все оплакивая, чудакъ, питающийся супомъ изъ
незабудокъ, бѣдный Донъ-Кихотъ, наполняющій жизнь
призраками и зажигающій таинственные огни въ заброшенномъ
старомъ домѣ, гдѣ шмыгаютъ однѣ голодныя крысы. Въ окнѣ
поѣзда мелькнула прекрасная чужая женщина. Ничего не
было, но у него уже перевернулась душа. Онъ бредетъ на
свой чердакъ, не чувствуя земли подъ собой, и ему кажется,
что совершилось что-то большое, большое...

Я въ полѣ. Вечеръ. Полотно.
Проходить поѣздъ. Полный ходъ.
Чужая женщина въ окно
Мнѣ отдается и беретъ...
Ей, вѣроятно, двадцать три,
Зыбка въ ея глазахъ фіоль.
Въ лучахъ оранжевой зари
Улыбку искривляетъ боль.
Я женщину крещу. Рукой
Она даритъ мнѣ поцѣлуй.
Проходить поѣздъ. Самъ не свой,
Навѣкъ теряя, я люблю...

Въ этомъ смыслѣ Игорь Сѣверянинъ — настоящий поэтъ,
которому муза бросила цѣвницу въ дѣтскую колыбель. Такимъ
«гулякой празднымъ», отдавшимъ вольное сердце жизни воль-
нымъ впечатлѣніямъ, прошелъ свой вѣкъ Фифановъ. Его тоже
никакія графини не знали кататься въ кабріолетахъ, но и
онъ свою прекрасную мечту гдѣ-то въ холодномъ Сергіевѣ
не промѣнялъ бы ни на какіе престолы и царства. Такъ
проходитъ свою жизнь Блокъ, разложившій среди улицы свой
кукольный театрикъ и играющій, не стыдясь взрослыхъ,
своими Коломбинами и Пьеро.

Сѣверянинъ — ихъ родной братъ, сѣюшій розы на снѣгу, видяшій Осень-старуху въ желтомъ пледѣ, любяшій незабудокъ, этихъ дѣтей канавъ съ голубыми глазами. То начало неврастеничности, безволя, дурманности, какое отличаетъ его, отличаетъ и сегодняшній день, и вотъ что особенно откроетъ ему нѣкоторыя сердца. И когда изъ его стиховъ исчезнутъ парикмахерскіе духи и марки шампанскаго, ему изъ гроба ласково улыбнется такой ему родственникъ и такъ нѣжно имъ любимый пѣвецъ «Царевича Триолета».

А. Измайловъ

«Русское Слово». Москва.
14/III. 14 № 61.

* * *

О «Я» И «ЧТО-ТО»

Около литературы, среди описательства, появилось явление, крошечное по размѣрамъ, безсильное, но характерное и очень подчеркивающее, поясняющее мои соображенія объ индивидуализмѣ. Въ этихъ соображеніяхъ оно нелѣпость—и я его долго не могъ понять.

Говорю о кружкѣ русскихъ «эго-футуристовъ». О нихъ, вопреки ихъ собственному мнѣнію, рѣшительно никто не знаетъ, а потому сразу поясню: это просто нѣсколько молодыхъ людей, которые пытались занять по отношению къ современной литературѣ позицію, которую когда-то заняли «декаденты». Такъ же принялись они выдумывать «новыя слова», точь въ точь съ тѣмъ же задоромъ и той же напускной самоувѣренностью. Все то же, только помельче: «декаденты» повели себя отъ Фета, а нынѣшніе — отъ Фофанова, т. е. отъ Фетовскаго... племянника, что ли. Вотъ эта «старость» новаго особенно и удивляла меня. Вскорѣ выяснилось, что изъ этихъ молодыхъ людей только одинъ болѣе или менѣе способенъ къ стихосложенію (да и тотъ не такъ ужъ молодъ, лѣтъ за тридцать), кружокъ нѣсколько распался, бро-

шюрки перестали выходить. Оставшійся болѣе талантливый поэтъ рѣшилъ печатать свои произведенія отдѣльно, а потому онъ, конечно, появится и на страницахъ самыхъ «обыкновенныхъ» журналовъ (кажется, даже появился); талантливость его—именно обыкновенный «модернъ», если вычестъ нѣкоторые претенціозные провинциализмы, стесать уголки.

Любопытна не степень талантливости этого единственнаго «поэта» изъ эго-футуристовъ, и не то, что другіе оказались бездарными, и не задоръ знакомо-декадентскій,—нѣтъ, знаменательна ихъ безпомощная, глупенькая, но инстинктивно вѣрная «программа»; любопытно, что они, подражатели и роковымъ образомъ «описатели», закричали вдругъ объ «эго», объ утерянномъ «Я». Безсильно закричали, не съ того конца, и показали, что они открываютъ Америку; однако, по существу-то вышло кстати, потому что Америку открытую мы незамѣтно утратили.

Стихи одинаго талантливаго эго-футуриста — чистѣйшее «описательство». Несмотря на всѣ самозаявленія, только описательство, «эго» въ нихъ и не ночевало; тѣмъ трогательнѣе вѣрный инстинктъ, влекушій въ вѣрную сторону, трогательно и свято покушеніе на личность,—пусть съ негодными средствами. Объявилось желаніе найти «себя»; сказалось открыто, что современная литература потеряла или теряетъ «Я»; въ ней тонетъ писатель, тонетъ человекъ.

Антонъ Крайній

«Новая Жизнь»
№ 2—февраль—1913 г.

* * *

ПОЭТЪ ЭКСЦЕССЕРЪ

Прежде чѣмъ приступить къ краткому разбору творчества Игоря Сѣверянина, я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ pro domo mea.

Не принадлежа къ той литературной группѣ, центромъ которой является, 'быть-можетъ, И. С., я все же охотно говорю о немъ и вотъ почему: какъ ни разъединяли бы враждебныя утвержденія, различныя литературныя теченія, — всѣ они роднятся въ стремленіи къ единой цѣли всякаго искусства (а эта общая цѣль, думается мнѣ, существуетъ). Разными руслами, не смѣшиваясь, текутъ они, но текутъ въ одинъ и тотъ же голубой океанъ поэзіи, омывающій материкъ реальности. Любовь къ искусству снимаетъ лозунговыя противорѣчія. Я могу отрицательно относиться къ футуризму, какъ къ программѣ, но любить стихи Игоря Сѣверянина. Искусство не переходитъ, а школы мѣняются. Да и что такое литературная школа? въ значительной степени она есть возведеніе въ догматъ, понимаемый, какъ требованіе извнѣ, индивидуальных качествъ, свойствъ и склонностей самобытнаго художника-родоначальника, изнутри обуславливающихъ его творческую дѣятельность.

Изъ самаго положенія моего по отношенію къ поэзіи И. С. слѣдуетъ, что задачей моею не можетъ быть проповѣдь футуризма. Опредѣленіе мѣста И. С. въ современной литературѣ русской, изслѣдованіе особенностей его языка и стихосложенія, — съ точки зрѣнія теоріи словесности все это чрезвычайно интересно. Мнѣ кажется умѣстнымъ коснуться этихъ особенностей И. С., но не для того, чтобы произвести синтаксическій или этимологическій анализъ его языка, а для того, чтобы въ структурѣ его рѣчи, рисунокъ ея оборотовъ и ритмическихъ движеній уловить колеблющуюся линію лирическихъ движеній его души, проникнуть чрезъ нихъ въ душу его творческихъ образовъ и этимъ приблизить читателя къ поэту, протянуть нить отъ сердца слушателей, къ его сердцу, — и если мнѣ удастся достигнуть этого, я буду считать свою задачу выполненной.

Когда открываешь впервые любую книгу И. С., первое чувство, какое испытываешь, это чувство недомыслия. На какомъ языкѣ написана эта книга? иностранные звуки преобладаютъ, рѣчь нестрить неслыханными словообразованіями,

капризными неожиданными оборотами. Стихотворные метры такъ разнообразны, что даже не читая, а только взглянувъ на стихи, удивляешься прихотливости, съ которой полуаршинныя десятистопныя строфы, едва умѣщающіяся на двухъ строкахъ, чередуются со строфами въ одинъ только слогъ; а рядомъ совсѣмъ безразмѣрная и вмѣстѣ съ тѣмъ таинственно пѣвучая рѣчь.

Но не даромъ Ш. Бодлэръ говоритъ, что удивленіе есть первый и существенный моментъ въ воспріятіи художественныхъ произведеній. Удивленіе, останавливая непрерывно текущій психическій процессъ, удаляетъ съ поля сознанія всѣ прежнія представленія и какъ бы очищаетъ его для принятія новыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, сколько ежедневно проглядываемъ мы стиховъ и прозы въ толстыхъ и тощихъ журналахъ для того, чтобы черезъ минуту позабыть о нихъ навсегда. А стихи И. С. могутъ, пожалуй, возмутить, разсердить, даже оскорбить съ перваго взгляда, но можно быть увѣреннымъ, что тотъ, кто возмущался, вспомнить о нихъ неожиданно для самого себя и вернется къ нимъ и при вторичномъ болѣе пристальномъ и внимательномъ взглядѣ замѣтитъ, что возмущавшія его особенности поэтической рѣчи И. С. не суть неумѣлость и неловкость его, а всѣ онѣ, даже самая вопиющая, самая беззаконная, объединены какимъ-то закономъ, — и законъ этотъ — цѣльность личности поэта.

Намѣчается путь: раскрывъ законъ, являющійся объединяющимъ принципомъ высшихъ приѣмовъ творчества И. С. — тѣмъ самымъ подойти къ психологическому характеру творческой личности Игоря Сѣверянина; это будетъ для насъ первой твердой ступенью для того, чтобы, связавъ высшіе приемы съ внутреннимъ психологическимъ содержаніемъ, перейти къ цѣностямъ, заключеннымъ въ творчествѣ поэта.

Само собой напрашивается раздѣленіе особенностей языка И. С. на двѣ группы. Первая заключаетъ въ себѣ особенности съ точки зрѣнія русской рѣчи вообще, вторая — съ точки зрѣнія рѣчи поэтической. Иначе говоря, первая предметомъ нашего разбора полагаетъ своеобразное словообразо-

ваніе и словоподчиненіе Игоря Сѣверянина, вторая — его стихосложеніе.

Еще разъ подчеркиваю, что, несмотря на общность предмета, задача моя съ задачей теоретико-словесной критики ничего общаго не имѣетъ; даже больше: онѣ прямо противоположны, потому что то, что является для филолога-языковѣда дефективнымъ, безцѣннымъ, — неправоильности языка, именно и интересуетъ меня; правило безлично, отклоненіе индивидуально, а опредѣленіе индивидуальности И. С. и составляетъ мою цѣль.

Я уже говорилъ, что съ перваго взгляда отмѣчаешь изобиліе иностранныхъ преимущественно романскихъ звонкихъ словъ въ лексиконѣ И. С. Но онъ не ограничивается расширеніемъ поэтического словаря введеніемъ иностранныхъ уже принятыхъ въ русскую рѣчь словъ. Онъ идетъ дальше: отъ этихъ словъ онъ производитъ новыя черезъ присоединеніе разныхъ суффиксовъ, — такъ отъ слова «бравада» по параллелизму со словами «отрада, прохлада», онъ производитъ слово «бравадный», отъ прилагательнаго «бравурный» — глаголъ «бравурить», отъ «ажурный» по параллелизму съ «лазурной» онъ восходитъ къ фантастическому слову, производящему: «ажуръ». Мало того, музыка романскихъ звуковъ такъ плѣняетъ его, что онъ даже отъ русскихъ корней на страхъ филологамъ и въ ихъ посрамленіе производитъ слова черезъ присоединеніе — *horribile dictu* — французскихъ окончаній; такъ отъ слова греза... онъ производитъ слова — грёзеръ, грёзерка.

Чѣмъ объяснить такой выборъ словъ, это стремленіе затопить русскій языкъ наводненіемъ носовыхъ романскихъ пѣвучихъ звуковъ? Онъ щеголяетъ ими, какъ нѣкоторые щеголяютъ вставленными въ разговоръ иностранными словами. Этотъ романизированный языкъ И. С. считаетъ настолько роднымъ, что, написавъ стихотвореніе на напѣвъ русской плясовой народнымъ стилемъ, — онъ сейчасъ же указываетъ, что это только подражаніе, что это просто исполненіе художественной прихоти поэта, — и указываетъ это очень тонко:

стихотвореніе озаглавлено «Chanson russe». Этимъ онъ отгораживается отъ всякой близости къ народности, — о, нѣтъ, онъ не народникъ, онъ космополитъ и денди. Правда дендизмъ его, не дендизмъ англійскій, не дендизмъ родоначальника его Джорджа Брёммеля, который говоритъ, что у истиннаго денди ничто не должно бросаться въ глаза, что онъ скромнень, что слишкомъ яркіе галстуки это принадлежность не дендизма, а фатовства. Этой скромности у И. С. нѣтъ; его дендизмъ вызывающій, бравирующій, требующій вниманія, эстрадный.

Другую особенность словообразованій И. С. составляетъ чрезвычайное богатство въ изобрѣтеніи новыхъ глаголовъ: «взорлилъ, гремящій, на престолъ», — «удастся ль душу дамы восторженно омомлнить», — «офіалченъ и олиленъ озерзамокъ Мирры Лохвицкой». Въ каждомъ изъ этихъ словъ скрыто собственно два: одно выражающее дѣйствіе, глаголъ и другое сравненіе; И. С. глаголъ опущенъ, а отъ сравненія производится новый глаголъ: такимъ образомъ изъ «взлетѣлъ, взнесеня орломъ» образовалось «взорлить» изъ «пронзить или озарить молніей» — «омолнить», изъ — увиться фіалками и лиліями — «офіалченъ и олиленъ».

Затѣмъ, И. С. часто соединяетъ въ одно слово эпитетъ съ опредѣляемымъ: «озерзамокъ» вмѣсто «озерной замокъ»; «лѣсофея» вмѣсто «лѣсная фея», и отъ этихъ двойныхъ словъ онъ производитъ еще и прилагательныя: «она была въ злофейномъ крепѣ». Русскій языкъ знаетъ такія словообразованія: онъ позволяетъ соединять въ одно существительное. Глаголъ, съ его прямымъ дополненіемъ — напр., чаепитіе, рукопожатіе; но помимо того, что И. С. выходитъ за эти предѣлы, онъ часто отъ такихъ сложныхъ отглагольныхъ существительныхъ производитъ новый глаголъ, требующій новаго дополненія — «сѣнокосить твой спѣлый іюль».

Что объединяетъ эти словообразованія? не ясно ли, что это — стремленіе къ усиленію энергіи, экспрессивности рѣчи, къ повышенію ея образности. Дать возможно больше представлений въ возможно меньшемъ количествѣ словъ, даже

жертвуют законам рѣчи. Вдохновеніе И. С. такъ бурно и эксцессивно, что рѣчь его, какъ полководная рѣка, ломаетъ сковывающій ее однообразный ледъ правилъ и несетъ, играя только причудливые отдѣльные его осколки. Мнѣ хочется назвать И. С. его словомъ: «эксцессеръ», потому что одновременно въ немъ есть намекъ на его яркій дендизмъ и опредѣленіе его художественнаго метода.

Но «эксцессивность» или «эксцессерство» неразрывно связано съ другимъ психологическимъ свойствомъ — эмоциональностью. Если эксцессъ разсматривать, какъ взрывъ, то эмоциональность является условіемъ переработки горючаго материала опыта въ летучіе газы. Эксцессивность даже только атрибутъ эмоциональности, такъ что о ней мы могли бы просто заключить изъ наличности эксцессивности, но объ ней свидѣтельствуютъ и неожиданные обороты его рѣчи, то отрывистой, какъ крикъ, то вьющейся и стелющейся, какъ ползучее растеніе.

Мнѣ не хочется утомлять читателя подробнымъ синтаксическимъ разборомъ структуры языка И. С. Въмѣсто этого я позволю себѣ привести два стихотворенія его, въ которыхъ различно, но одинаково явно, зыблятся волны этой эмоциональности, всколебленной дуновеніемъ вдохновенія:

ВЪ ОЧАРОВАНЬИ.

Быть можетъ оттого, что ты не молода,
Но какъ-то трогательно больно моложава,
Быть можетъ оттого я такъ хочу всегда
Съ тобою вмѣстѣ быть; когда, смѣясь лукаво,
Раскроешь широко влекушіе глаза,
И блѣдное лицо подставишь подъ лобзанья,
Я чувствую, что ты — вся нѣга, — вся гроза,
Вся — молодость, вся — страсть; и чувства безъ
названья

Сжимаютъ сердце мнѣ плѣнительной тоской,
И потерять тебя — боязнь моя безмѣрна...
И ты, меня понявъ, въ тревогѣ, головой
Прекрасною своей вдругъ поникаешь нервно, —
И вотъ, другая ты: вся — сень, вся — покой...

ВЪ ПЯТИ ВЕРСТАХЪ ПО ПОЛОТНУ...

Весело, весело сердцу! звонко, луша, освирѣлся! —
Прогрохоталъ искрометно и эластично экспрессъ.
Я загорѣлся восторгомъ! я заглядѣлся на рельсы! —

Дама въ окнѣ улыбалась, дама смотрѣла на лѣсъ,
Ручкой меня цѣловала. Поздно! — но какъ же
тутъ «раньше?»..

Эти глаза... вы — фіалки! эти глаза... вы — огни!
Солнце, закатное солнце! твой дирижабль оран-
жевъ!

Сяду въ него, — повинуйся, поѣздъ любви обгони!
Кто и куда? — не отвѣтитъ. Если и хочетъ, не

И не догнать, и не встрѣтить. Греза — сердечная
моль.

Все, что находить, теряетъ сердце мое... Боже,
Боже!

Призрачный промелькъ экспрессы даль мнѣ
чаруйную боль.

Первое стихотвореніе представляетъ изъ себя одно сложное непрерывное предложеніе, отдѣльныя части котораго плавно, гармонически втекаютъ одна въ другую; кажется, — это волна, медленно поднимающаяся на плоскій берегъ и на вершинѣ взлета вдругъ вскипающая страстной пѣной и брызгами, чтобы вдругъ погаснуть въ паденіи; это долгій, томительный, сладкій вздохъ, рассказанный словами; второе же стихотвореніе — плѣнительная путаница перебивающихъ другъ друга предложений, въ которыхъ мысль и чувства поэта подобны безпокойной зыби, гдѣ блескъ и тѣнь, боль и восторгъ, очарованье и безнадежность мгновенно смѣняются другъ друга.

Если эмоциональность художественнаго темперамента И. С. выводима изъ его слово- и фразопостроенія, то особенности его стихосложенія — наоборотъ — сами до конца выводимы

изъ этой эмоціональности. Ею рождены эти упругія строфы, она подсказываетъ ему его качающіеся, колыбельные размѣры, ова—источникъ почти пѣсенной пѣвучести его стиховъ, такой властной и заразной, что стихи его хочется пѣть. И. С. и поетъ свои стихи — и напѣвъ ихъ такъ внятень, что его можно записать нотными знаками. И это не прихоть чтеца—напѣвъ заключень въ нихъ потенциально и можно даже вскрыть техническія причины этой напѣвности.

Возьмемъ для примѣра двѣ строки изъ стихотворенія «Мороженое изъ сирени»: «Я сливочнаго не имѣю, фисташковое я распродалъ. Ахъ, граждане, да неужели Вы требуете кремъ-брюлэ». Проскандировавъ эти стихи, мы замѣчаемъ, что это шестистопный амфибрахій съ цезурой послѣ третьей стопы. Извѣстно, что для произнесенія каждой отдѣльной строфы требуется приблизительно равная затрата голосового усилія, распредѣляющагося равномерно между ударными слогами. Но въ данномъ отрывѣ шести метрическимъ удареніямъ соотвѣтствуетъ только четыре грамматическихъ; получается ускореніе, нѣчто въ родѣ метрическаго зіянія, — и, чтобы строфа не смялась, на произнесеніе ударнаго слога, предшествующаго потерявшему удареніе, падаетъ двойное усиліе, — этотъ слогъ долженъ произноситься протяжнѣй, а усилію голоса невольно сопутствуетъ повышеніе и вотъ уже какъ бы пунктиромъ намѣчается напѣвъ.

Итакъ, къ двумъ уже найденнымъ опредѣленіямъ — денди и эксцессеръ — присоединяется третье: эмоціоналистъ, но оно требуетъ дополнительныхъ разъясненій. Въ самомъ дѣлѣ, объ эмоціональности И. С. мы заключили выводнымъ путемъ изъ особенностей его рѣчи; бѣглый взглядъ на своеобразную метрику и чтеніе стиховъ И. С. еще больше поддерживаетъ нашу увѣренность, что мы на вѣрномъ пути. Эти особенности были для насъ гипсовой формой, на которой отпечатлѣлись волнообразныя линіи, говорящія намъ о наличности эмоции, какъ формирующей силы; напряженность или прихотливость ея угадывалась по глубинѣ и сложности бороздъ отпечатка. Но качественнаго характера этихъ эмоцій мы не опредѣлили

и не опредѣлимъ по тѣмъ формальнымъ даннымъ, съ которыми мы до сихъ поръ имѣемъ дѣло. Здѣсь лежитъ порогъ, переступая который, мы неминуемо должны потерять свою объективность и доказательность положеній замѣнить ихъ убѣдительностью. Между тѣмъ, мнѣ кажется несомнѣннымъ, что повышенная эмоціональность является самымъ существеннымъ свойствомъ личности И. С., какъ поэта. Весь міръ для него — многотонная гамма ощущеній — и ощущеній по преимуществу пассивныхъ страдательныхъ, чѣмъ, пожалуй, можно объяснить частое сравниванье самимъ И. С. своихъ переживаній съ ощущеніями вкуса — и, о, какое тонкое гурманство проявляетъ тогда поэтъ-денди. Недаромъ названіями фантастическихъ и существующихъ яствъ и ликеровъ пестрятъ его поэзы... Можетъ быть, самый сокъ жизни представляется ему, какъ эти колоритные, сладко пьяные и обжигающіе напитки, отъ которыхъ кружится голова и всѣ вещи пускаются въ плавный танецъ. И когда опьяненнымъ взглядомъ онъ окидываетъ картину природы или опьяненнымъ сердцемъ переживаетъ мгновеніе любви — его вдругъ настигаетъ галантный эксцессъ и изъ глубей приливающей прибой выкидываетъ намъ на берегъ узорно-ажурную пѣну — замысловатое кружево его стиховъ.

Вдохновеніе его такъ непосредственно, путь отъ сердца къ пѣснѣ такъ коротокъ, переживанія такъ быстро чередуются, что они не успѣваютъ, достигнувъ сознанія, изъ творческихъ эмоцій претвориться въ творческую идею...

Ты женщина, ты вѣльмовскій напитокъ,
Онъ жгетъ огнемъ, едва въ уста проникъ,
Но пьющій пламя подавляетъ крикъ
И славословить бѣшено средь пытокъ,

говоритъ Валерій Брюсовъ, и въ этихъ словахъ слышится узнавая всѣ отравы и отравы современная душа, познавшая гибельность любви. И на сдержанное изступленіе этихъ строкъ разочарованно откликается И. С. — «кудеснѣй всѣхъ женщинъ — ликеръ изъ банана».

«Колыбель безконечности», такъ въ одномъ стихотвореніи называетъ Бодлэръ океанъ. — «Онъ плещется десертно, со-всѣмъ мускатъ-люнельно», сладко поеть въ отвѣтъ Игорь Сѣверянинъ. Первый, созерцая океанъ, отвлекается отъ того маленькаго круга, которымъ — увы — ограничиваетъ насъ, наше физическое зрѣніе, — онъ видитъ его весь, онъ растворяется въ этомъ созерцаніи и, по слову Лермонтова, пьеса о Вѣчности, какъ великанъ умъ человѣка поражаетъ вдругъ. Для Игоря Сѣверянина океанъ таковъ, какимъ онъ сейчасъ, мгновенно, преломляется въ немъ; строго говоря, для Игоря Сѣверянина океанъ это только, какъ и вся природа, состояніе его души. Онъ — солнце того міра, въ которомъ онъ живетъ, и, ослѣпленный своимъ блескомъ, онъ не можетъ видѣть надъ собой небснаго, вѣчнаго солнца.

Въ моей душѣ восходитъ солнце,
Гоня невзгодную зиму.
Въ экстазѣ идолопоклонца
Молюсь таланту своему.
Въ его лучахъ легко и просто
Вступаю въ жизнь, какъ въ листный садъ.
Я улыбаюсь, какъ подростокъ,
Пріемлю все, всему я радъ.
Ахъ, для меня, для беззаконца,
Одинъ дѣйствителенъ законъ:
Въ моей душѣ восходитъ солнце,
И я лучиться обреченъ!

Такъ вотъ къ чему приводитъ эмоціонализмъ, какъ міро-ощущеніе! Человѣкъ становится центромъ всего міра, но весь міръ зато изъ большаго міра, вселенной, космоса, превращается въ міръ малый, ограниченный нашими пятью чувствами. Связь между микрокосмомъ и макрокосмомъ порвана. Больше нѣтъ ни въ чемъ надежной опоры. Достаточно просто усталости, чтобы потерять остроту вкуса и впасть въ уныніе, ибо потеря вкуса для эмоціоналиста равна смерти, онъ погружается въ безчувственную тьму. Дѣйствительно, останется только «ликеръ изъ банана», а за нимъ морфій или кокаинъ.

Одинокъ И. С., несмотря на солнечность свою, въ замкнутомъ мірѣ своихъ ощущеній, — ихъ рѣдкость замыкаетъ его отъ слушателя, какъ бы въ многоцвѣтную тюрьму и голоса почти онъ не понимаетъ. Экссессерство же его кажется подозрительной публикѣ краснымъ плащомъ торреадора, — и, боясь стать разъяреннымъ быкомъ, она подымаетъ на смѣхъ поэта. «Паяцъ» кричитъ толпа. И эту кличку принимаетъ Игорь Сѣверянинъ, но съ такой грустной гордостью, что въ его устахъ она звучитъ, «какъ королевскій титулъ».

За струнной изгородью лиры
Живетъ невѣдомый паяцъ.
Его палатца изъ палатцъ —
За струнной изгородью лиры...
Какъ онъ смѣшитъ пигмеевъ міра,
Какъ сотрясаетъ хохотъ плацъ,
Когда за изгородью лиры
Рыдаетъ царственный паяцъ!..

И не кличку только, но и личину трагическаго паяца принимаетъ И. С. — сколько поводовъ для новыхъ эксцессовъ «Я трагедію жизни претворю въ грезефарсъ» рѣшаетъ И. С.

И подъ личиной паяца отъ становится шуткомъ сатирикомъ, смѣющимся надъ смѣхомъ публики, какъ смѣются надъ человѣкомъ, который не замѣчаетъ, что его держатъ за носъ:

Каждая строчка — пощечина, голосъ мой сплошь издѣвательство,
Римы слагаются въ кукиши, кажется языкъ ассонансъ;
Я презираю Васъ пламенно, тускляя Ваши Сіятельства
И, презирая, рассчитываю на міровой резонансъ.

Но эти стихи идутъ не изъ самой глубины творчества И. С., они случайны, какъ результатъ непониманія, возникшаго между поэтомъ и слушателемъ. Стоитъ поэту отвернуться отъ слушателя, побыть съ собой и опять горячія волны ощущеній сладкихъ, нѣжныхъ, десертныхъ укачиваютъ его. Въ немъ борются два желанія: «Кому бы бросить наглѣе дерзость? — кому бы нѣжно поправить бантъ?» побѣждаетъ вто-

рое и вновь рождаются стихи сладкіе, нѣжные, тающіе, десертные — «Мороженое изъ сирени?», такъ называется онъ ихъ. Но вотъ обернулся онъ къ слушателю и палецъ вновь просыпается въ немъ: Игорь Сѣверянинъ накидываетъ костюмъ мороженника и, съ ужимками въ голосѣ, подражая его протяжному зазыванью, зазываетъ въ свою палатку умирающую со смѣху публику.

Мороженое изъ сирени! Мороженое изъ сирени!
Полпорціи десять копеекъ, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль?—не дорого —

можно безъ преній...
Поѣшь деликатнаго, площадь: придется товаръ
по душѣ!

Я сливочнаго не имѣю, фисташковое все распро-
далъ...

Ахъ, граждане, да неужели вы требуете кремъ-
брюле?

Пора популяризировать изыски, уточниться вкусомъ
народа,

На улицу спеціи кухню, огимнивь эксцессъ въ
вирелѣ!

Сирень — сладострастья эмблема. Въ лилово-
изнѣженномъ кренѣ

Вальдись, водопадное сердце, въ душистый и
сладкій пушокъ...

Мороженое изъ сирени! Мороженое изъ сирени!
Эй, мальчикъ со сбитнемъ, попробуй! Ей Богу,
похвалишь, дружокъ!

Публика будетъ смѣяться и лакомиться, но если среди нея — не дай Богъ, встрѣтится глубокомысленный литературный критикъ, онъ послушаетъ, важно покачаетъ головой и скажетъ: «ужъ не говоря о томъ, что многого я здѣсь не понимаю, долженъ замѣтить, что стиль не выдержанъ: гдѣ это слыхано, чтобы мороженникъ говорилъ такія слова, какъ эмблема, популяризировать, изыски». Увы, господинъ критикъ, вы не многого не понимаете здѣсь, а главнаго; не понимаете, что авторъ этими словами нарочно какъ бы показываетъ изъ-подъ костюма мороженника сюртукъ отъ петроградскаго — несо-

мнѣнно, петроградскаго портного и изъ-подъ маски мужика-мороженника выглядываетъ недвижимое холодное лицо поэта денди, космополита и эксцессера, и слышатся слова, намекающія на то, что это просто прихоть, маскарадъ, грезофарсъ, *chanson russe*...

Но не думайте, что-изъ подъ маски истинный свой ликъ показалъ вамъ И. С. — нѣтъ, истиннаго лица самъ онъ вамъ не покажетъ, — это было когда-то раньше, когда онъ писалъ строфы «Сирени моей весны», гдѣ сердце свое трепетное и открытое доверчиво давалъ въ руки читателю, но «много, много ужъ этому времени, много, много ужъ этому сновъ». Но сердце его не умерло: оно спряталось только; тепло и любовь помогутъ вамъ растопить восковую личицу денди и подъ ней вы увидите лицо страдающаго и радующагося чело-вѣка, талантливаго личнаго пѣвца, а въ мороженомъ изъ сирени, которое предложитъ вамъ поэтъ-хозяинъ «помезныхъ поэзо-концертовъ» — вы узнаете то же прежнее, трепетное, живое сердце, только покрытое тонкимъ «холоднымъ и сладкимъ пушкомъ».

Сем. Рубановичъ

Прочитано на вечерѣ поэзы Игоря Сѣверянина, въ Политехническомъ Музеѣ въ Москвѣ 31 января 1915 г.

* * *

„МОРОЖЕНОЕ ИЗЪ СИРЕНИ“

Мороженое изъ сирени! Мороженое изъ сирени!
Полпорціи десять копѣекъ, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо-ль?—Недорого, можно безъ преній...
Поѣшь деликатнаго, площадь: придется товаръ по душѣ!
Я сливочнаго не имѣю, фисташковое все распродалъ...
Ахъ, граждане, да неужели вы требуете кремъ-брюле?
Пора популяризировать изыски, уточниться вкусомъ народа,
На улицу спеціи кухню, огимнивь эксцессъ въ вирелѣ!

И такъ далѣе... Мнѣ думается, что эту поэзу можно было бы взять эпиграфомъ ко всему «Громокипящему кубку»

Игоря Сѣверянина. Вся эта книга есть одинъ своеобразный «экссессъ въ вирелэ», если повторить вслѣдъ за поэтомъ это дикое сочетание словъ. Къ свѣдѣнію читателей: «вирелэ» — одна изъ формъ лирической поэзіи во Франціи XIV—XVI вв.; всѣ эти рондели, кэнзелі, вирелэ хорошо подходятъ къ чисто манерной поэзіи Игоря Сѣверянина.

«Экссессъ» въ манерности, но не слашавой французской, а грубой и намѣренно-ломающейся — этого много въ книгѣ «поэзъ», но вѣдь въ этомъ то и видитъ поэтъ весь вкусъ своего «мороженого изъ сирени»! Онъ великоколѣпно презираетъ «площадь»: вѣдь «площадь» эта любитъ «сливочное» и «фисташковое» мороженое — стихи Бальмонта или Брюсова. Да и то есть «граждане», которые еще и до этого не доросли, а «требуютъ кремъ брюле», питаются Апухтинскими и имъ подобными. Игорь Сѣверянинъ хочетъ своей поэзіей «популярить изыски» (т.-е., переводя на русскій языкъ, хочетъ ввести въ обиходъ изысканность), хочетъ угостить насъ своимъ «мороженымъ изъ сирени»: «поѣшь деликатнаго, площадь: придется товаръ по душѣ».

Я не могу сказать, чтобы мнѣ все пришлось по душѣ въ товарѣ Игоря Сѣверянина; начать съ того, что какъ разъ «деликатнаго»-то меньше всего въ «поэзахъ» этого автора. Какой вкусъ у мороженого изъ сирени — я не знаю; но знаю навѣрное, что вкусъ самого автора «поэзъ» далеко не изысканъ. Онъ съ восторгомъ поглощаетъ, на примѣръ, такую музыкальную дрянь, какъ Тома, Массенэ, Масканы: пишетъ о нихъ, посвящаетъ имъ стихи! Этотъ музыкальный кремъ-брюле не претитъ его художественнымъ вкусамъ, и это вообще характерно для всей его поэзіи. Его «мороженое изъ сирени» — очень грубое кушанье, шиплющее и острое, но именно въ этомъ и состоитъ его своеобразный вкусъ, который какъ разъ „площади“ можетъ прйтись по душѣ.

Игорь Сѣверянинъ, несомнѣнно, талантливый поэтъ — самобытный и красочный лирикъ; въ послѣднемъ — вся его сила, и больше ему ничего не надо. Онъ, конечно, склоненъ оцѣнивать себя иначе; онъ заключаетъ книгу гордымъ «эпилогомъ»:

Я, гений, Игорь Сѣверянинъ,
Своей побѣдой упоенъ:
Я повсеградно озраченъ,
Я повсесердно утверждень!
Отъ Баязета къ Порть-Артуру
Черту упорную провелъ.
Я покоришь литературу!
Взорлиль, гремящій на престолъ! (Стр. 140.)

Это, конечно, очень весело читать; и, воображаю, какимъ хохотомъ и свистомъ будутъ встрѣчены такія слова. И по заслугамъ; хотя, въ сущности, это только дань поэта «эго-футуризму», въ коемъ онъ донынѣ пребывалъ. Многие ли не считали себя «геніями», когда были гимназистами?

«Эго-футуризмъ» есть самоновѣйшее теченіе среди зеленой поэтической молодежи. Они «создали» теорію самаго крайняго индивидуализма, поставили вершиной міра свое «я» (о, незабвенные гимназическіе годы!), издавали различные «манифесты» и всѣ поголовно именовали другъ друга «геніями». Все это мило и безвредно; одна бѣда: почти всѣ они — самыя безнадежныя бездарности; объ этихъ своихъ коллегахъ Игорь Сѣверянинъ, въ одномъ изъ стихотвореній, выразился кратко и мѣтко:

Вокругъ — талантливые трусы
И обнаглѣвшая бездарь...

Но самъ Игорь Сѣверянинъ — не «трусъ» и не «бездарность». Онъ смѣлъ до саморекламы, и онъ, несомнѣнно, талантливъ. Эта излишняя развязность и смѣлость, вѣроятно, скоро пройдутъ; недаромъ онъ заявилъ уже гдѣ-то «письмомъ въ редакцію», что вышелъ изъ кружка «эго-футуристовъ». Но талантливость при немъ была и осталась; и эта подлинная талантливость заставляетъ принять этого поэта и говорить о немъ серьезно и со вниманіемъ. Мнѣ пришлось уже говорить о немъ, «какъ о подающемъ надежды»; чрезмѣрныхъ надеждъ возлагать не приходится, но часть уже осуществлена, и можно говорить не только о будущемъ поэта, но и объ его настоящемъ.

Когда Игорь Сѣверянинъ захочетъ, онъ пишетъ въ «старыхъ формахъ» такія прекрасныя стихотворенія, какъ, напримеръ, «Очамъ твоей души» (стр. 9); можетъ показать себя достойнымъ ученикомъ Брюсова «Весенній день» (стр. 10), ученикомъ Бальмонта «Chanson russe» (стр. 37), можетъ блеснуть такимъ мастерствомъ техники, какъ шестнадцать пересѣкающихся риевъ въ одномъ четверостишіи («Квадратъ квадратовъ», стр. 86). Но не въ этомъ его сила, а въ томъ, что онъ, подлинный лирической поэтъ, чувствуетъ по своему, видитъ по своему,— и по-своему же выражаетъ то, что видитъ и чувствуетъ. Въ этомъ «по-своему» онъ иногда слишкомъ смѣлъ, а иногда поэтому въ выраженіяхъ его многое спорно, многое раздражаетъ, — особенно въ виду его любви къ острымъ и новымъ словообразованіямъ.

Когда онъ говоритъ:

По аллеѣ олуенной вы проходите морево, —

то послѣднее слово меня не радуешь, ибо расхолаживаетъ мое поэтическое воспріятіе необходимостью разгадывать ребусъ. Когда онъ заявляетъ мнѣ, что

Чтобъ ножки не промокли, ихъ надо окалошить

или, тутъ же рядомъ, что

Онъ готовъ осупружиться, онъ рѣшился на все,—

то это только напоминаетъ мнѣ безчисленныя «поэмы» Саша Чернаго, лаврамъ котораго врядъ ли стоитъ завидовать Игорю Сѣверянину. И то же самое надо повторить о цѣломъ рядѣ никому ненужныхъ «экссессовъ», въ родѣ:

Я въ комфортабельной каретѣ, на эллипсическихъ рессорахъ,
Люблю заѣхать въ златополдень на чашку чая въ женоклубъ...

Или:

Офіалченъ и олиленъ озерзамокъ Мирры Лохвицкой,
Лиловьютъ разнотонами станы тонкихъ поэтессъ,
Не доносятся по озеру шумы города и вздохъ людской,
Оттого, что груди женскія, тутъ не груди, а дюшесъ...

Къ чему все это? И неужели это «поэтической образъ»? Во всемъ этомъ много гимназическаго задора и нѣтъ поэтической необходимости. Нѣтъ ея и въ томъ насилуваніи русскаго языка, которое Игорь Сѣверянинъ возводитъ въ систему «Популяризмъ изыски», «бурно бравуритъ весна», «драпиритъ стволы» — къ чему всѣ эти «экссессы въ вирелэ»? Надо пожалѣть русскій языкъ и избавить его отъ такихъ обогащеній; а вѣдь Игорь Сѣверянинъ думаетъ, вѣроятно, что онъ это новые горизонты открываетъ, когда писалъ такія строки:

Вы постигнете тайну: вѣчной жизни процессъ
И мечты-сюрпризёрки
Надъ качалкой грэзерки
Воплотятся въ капризный, но безсмертный экссессъ!

Всѣ подобныя «экссессы въ вирелэ» очень часто портятъ лучшія стихотворенія Игоря Сѣверянина. Иногда выдержанное, прекрасное стихотвореніе вдругъ обидно пачкается намѣренно грубыми мазками въ концѣ; «деликатнаго» во всемъ этомъ очень мало...

Вотъ примѣръ — прелестное стихотвореніе: «На рѣкѣ форелевой:»

На рѣкѣ форелевой, въ сѣверной губернии,
Въ лодкѣ, сизымъ вечеромъ, утокъ не разстрѣливай:
Благостны осенніе отблески вечерніе
Въ сѣверной губернии, на рѣкѣ форелевой.
На рѣкѣ форелевой въ трепетной осинковѣ
Хорошо мечтается надъ крутыми веслами,
Вечерѣтъ холодно. Зябко спятъ малиновки,
Скачетъ лодка скользкая камышами рослыми,
На отложь берега лень расцвѣлъ мимозами,
А форели шустрятся въ рѣкѣ граціозами...

Особое умѣніе: двумя словами безповоротно испортить все впечатлѣніе отъ прекраснаго стихотворенія! И вѣдь, вѣроятно, очень гордъ собою, — деликатно и изысканно выразился! «Пошль деликатнаго, площадь: придется товаръ подушъ!» И эта невозможная безвкусица заключаетъ собой

стихотвореніе, очарованію котораго поддаешься съ первыхъ же строкъ. «Благостны осенніе отблески вечерніе», — это «настраиваетъ». Малиновки «зябко спятъ»; «лодка», «скачетъ камышами»; «форели шустрятся» — все это смѣло и вѣрно, все это подлинное воспріятіе поэта.

Такого подлинно поэтическаго, иногда спорнаго, иногда сразу радующаго и покоряющаго — не мало у Игоря Сѣверянина, и въ этомъ всѣ надежды на его будущее.

Люблю октябрь, угрюмый мѣсяцъ,
Люблю обмершіе лѣса,
Когда хромаетъ ветхій мѣсяцъ,
Какъ половина колеса...
Морозомъ выпитыя лужи
Хрустятъ и хрупки, какъ хрусталь...

Здѣсь я вижу лицо поэта. Я покоряюсь ему, когда онъ говоритъ про то, какъ передъ грозой «небеса растерянно ослѣпли, вѣтеръ зашарахался въ листьѣ»; когда онъ говоритъ про «морозомъ выпитыя лужи», про «хромающій мѣсяцъ», или про то, какъ «кувыркался вѣтерокъ». Я нахожу среди книги «поэзъ» много выдержанныхъ и яркихъ лирическихъ отрывковъ, много «смѣлаго» и «новаго» — не только въ плохомъ, но и въ хорошемъ смыслѣ; рядомъ много гимназическаго задора и вздора, много ломаній, сплошной «экспессъ въ вирелэ», — но всюду талантъ, которому предстоитъ еще побѣдить самого себя. И, недаромъ, въ минуту откровенности, поэтъ сознается:

Не покидай меня! — я жалокъ
Въ своемъ величій больномъ...

Это «большое величіе» ему и предстоитъ побѣдить прежде всего; безъ этого путь впередъ закрытъ для поэта. И, не смотря на то, что эта книга его «поэзъ» заканчивается какъ разъ бредомъ «большаго величія» — «эпилогомъ», отчасти приведеннымъ выше, — но все же заключительныя строки его позволяютъ надѣяться, что на пройденный путь поэтъ уже не вернется:

Не ученикъ и не учитель,
Великихъ другъ, ничтожныхъ братъ,
Иду туда, гдѣ вдохновитель
Моихъ исканій — говоръ хатъ...

Новый этотъ путь — единственный, на которомъ Игорь Сѣверянинъ можетъ пойти впередъ и преодолѣть самъ себя. До сихъ поръ онъ только поэтъ площади, не воспѣвающій ее, но рожденный ею; здѣсь онъ выдѣлываетъ свое «мороженое изъ сирени», думая, что это весьма «деликатное» кушанье для «площади», презираемой имъ. Онъ ошибается: это кушанье грубое, хотя именно въ грубости его — его вкусъ. Но было бы грустно, если бы онъ вѣкъ остался кричать на площади, или разносить свое «мороженое изъ сирени» по петроградскимъ дачамъ. Онъ подлинный лирической поэтъ, и широкій путь его лежитъ отъ «дачи» — къ «природѣ», «отъ площади» — въ лѣса, въ поля, туда, «гдѣ вдохновитель его исканій — говоръ хатъ». Въ силахъ ли только онъ свершить этотъ путь и перестать выдѣлывать свое излюбленное «мороженое изъ сирени?»

Ивановъ-Разумникъ

„Завѣты“ (Петроградъ),
1913 г., № 3, мартъ.

* * *

ИГОРЬ СѢВЕРЯНИНЪ

Нетрудно вышутить Игоря Сѣверянина, низвести его на одинъ уровень съ Крученыхъ и Бурлюками, побѣдоносно отразить его мнимыя завоеванія. Все такъ еще не прибрано и не благоустроено у него на новосельи; едва ли найдется въ его книгахъ хоть одно стихотвореніе, не испорченное какимъ-либо нелѣпымъ трюкомъ или просто первымъ попавшимся подъ рѣзъ выраженіемъ. И такъ много въ ней лишняго, ненужнаго, случайнаго или нарочитаго, столько навивнаго задора и комическаго самообольщенія, такъ мало окончательно-цѣннаго и прочно установленнаго, что изъ ло-

скутеевъ ея можно состряпать какое угодно пошурри. Но надъ ней, надо всей ея досадной нескладицей и разлѣпницей, какъ надъ мутнымъ половодьемъ, надъ распутицей и бездорожьемъ пахучихъ мартовскихъ полей, вѣтеть духъ весны,— надъ ней вѣтеть свѣжій духъ поэзии, юный духъ нарождающагося поэта.

Какія шири! дали! виды!
Какая радость! воздухъ! свѣтъ!.

Что бы ни говорили старовѣры, Игорь Сѣверянинъ одаренъ исключительнымъ даромъ стихотворца. Звуковой диапазонъ его стиха очень великъ. Онъ умѣетъ быть протяжно-мелодичнымъ:

Какая ночь!—и глушь, и тишь,
И сонъ, и лунь, и воль...
Зачѣмъ же, сердце, ты грустишь?
Откуда эта боль?

Или напряженно-напѣвнымъ, восторженно звонкимъ:

Свѣтило надъ мраморной виллою
Алѣетъ румянцемъ свиданія...

Но, когда нужно, онъ умѣетъ нѣжно приспустить свою звонкость, заставить свой стихъ звучать тихой жалобой, на подобіе струнъ, прижатыхъ сурдинкой:

Такъ тихо—долго шла жизнь на убыль
Въ душѣ, исканьемъ обворованной...
Такъ странно—тихо растаялъ Врубель,
Такъ безвадежно очарованный...

Едва ли удавалось кому-нибудь съ большей удачей и съ большимъ изяществомъ передать грубовато — забористый, стремительный *praessto* плясовой:

Хорошо гулять утрами по овсу,
Видѣть птичку, лягушенка и осу,
Слушать соннаго горлана пѣтуха,
Обмѣняться съ дальнимъ эхо: „ха-ха-ха!“

— или бойкую скороговорку наивно-тривиальной гармоникой.

Зашалила, загуляла по деревнѣ молодуха.
Было въ полѣ, да на волѣ, было въ день Святого духа—

— или выкрики уличныхъ разносчиковъ, нахальные, то звонко-переливчатые, то мелко-разсыпчатые:

Мороженое изъ сирени! Мороженое изъ сирени
Полпорціи десять копеекъ, четыре копѣйки буше!
Сударшни, судари, надоль? — недорого — можно
безъ преній...

Но, въ то же время, немногимъ изъ его сверстниковъ дано владѣть такимъ простымъ и спокойно-красивымъ стихомъ:

Схожу насмѣшливо съ престола
И нынѣ, свѣтлый пилигримъ,
Иду въ застѣнчивые доли,
Презрѣвъ ошеломленный Римъ.

Звукоподражанія его зачастую превосходны:

Элегантная коляска, въ электрическомъ биении,
Эластично шелестѣла по шоссе по песку...

или:

Снѣжѣть дружно, снѣжѣть вѣжно,
Надъ ручейками хрусталитъ хрупъ
Куда ни взглянешь—повсюду снѣжно...

или еще:

Морозомъ выпитыя лужи
Хрустятъ и хрупки, какъ хрусталь;
Дороги грязно-неуклюжи,
И воздухъ сковываетъ сталь.

Последніе четыре стиха замѣчательны также по своей изобразительности, достигнутой путями прямыми, средствами простѣйшими. Такихъ стиховъ и отдѣльных счастливыхъ выражений и образовъ найдется въ книгѣ Игоря Сѣверянина немало. Правда, это всегда только отдѣльные отрывки, крупицы, разсыпанные среди неудачныхъ нововведеній, насыщенной публицистики, а то и образчиковъ простой безвкусыцы;

но разсыпаны эти крупинцы рукою щедрой и, безспорно, талантливой. Замѣчательно также то обстоятельство, что стихи Сѣверянина, какъ бы неудачны они ни были, всегда остаются стихами, никогда не превращаются въ рюмованную прозу. Мы не видимъ, покамѣстъ, оснований и для того, чтобы согласиться съ мнѣніемъ Андрея Полянина («Сѣв. Зап.» № 4), что безвкусіе — органической порокъ Игоря Сѣверянина. Скорѣе, оно есть слѣдствіе слишкомъ явной незрѣлости его таланта и той потери равновѣсія, которая подстерегаетъ почти каждаго на новыхъ и потому опасныхъ путяхъ искусства, — а Игорь Сѣверянинъ ходитъ новыми путями.

Было бы грубѣйшей ошибкой принимать поэзію Сѣверянина и то теченіе, къ которому онъ примкнулъ, за подновленное декадентство девяностыхъ годовъ. Оба теченія взаимно противоположны, какъ по устремленіямъ своимъ, такъ и по происхожденію. Каждый декадентъ, какового бы толка онъ ни былъ прежде всего утонченникомъ ради утонченности, онъ хотѣлъ бы быть «поэтомъ для немногихъ»; до толпы, ея вкусовъ никакого дѣла ему не было; объ общедоступности онъ не заботился, считалъ ее не только излишней, но и прямо нежелательной. Игорь Сѣверянинъ въ своихъ стремленіяхъ наполовину публицистиченъ. Онъ пишетъ непремѣнно для многихъ, онъ хотѣлъ бы быть общедоступнымъ и общеобязательнымъ, — поэтомъ для всѣхъ: «Я покорилъ литературу», «Я повсеградно оэкраненъ»... Но при этомъ онъ не желаетъ поступаться своими вкусами, своей (хотя бы и мнимой) утонченностью». «Я сливочнаго не имѣю, фисташковое все распродалъ»... Отсюда его задача: быть изысканно-лубочнымъ, художественно плакатнымъ — «Пора популяризировать изыски, утончиться вкусомъ народа».

Мы не вѣримъ Игорю Сѣверянину, когда онъ говоритъ: «для насъ Державинымъ сталъ Пушкинъ», не вѣримъ не только въ томъ смыслѣ, что считаемъ это объективно-невѣрнымъ, но не вѣримъ и въ субъективную правду его словъ. Насколько еще не изжитъ Пушкинъ для самаго Сѣверянина, видно хотя бы изъ того, что черезъ одну страничку, послѣ столь рѣ-

шительнаго заявленія, онъ пишетъ невольную пародію на пушкинскіе стихи:

Да, я влюбленъ въ свой стихъ державный,
Въ свой стихъ изысканно-простой,
И льется онъ волною плавной
Въ пустынь чухлой и пустой.

Не иначе обстоитъ у него дѣло и съ модернизмомъ. Далеко не все богатство формъ, накопленное за послѣднія два десятилѣтія, использовано молодымъ новаторомъ. О такихъ его нововведеніяхъ, какъ «орозенная язва» и «ядосмѣхъ», едва ли нужно говорить серьезно. Сколько бы ни твердилъ онъ Валерію Брюсову, что онъ ему «вѣкій равный государь» и отнюдь не «ученикъ», мы все уже останемся при томъ мнѣніи, что онъ пока именно только ученикъ знаменитаго мастера, и ученикъ довольно робкій, хотя и заносчивый. Если у него «ассонансы точно сабли рубнули рюму», то слѣдали они это, по собственному его признанію, «сгоряча». Такъ же, очевидно, сгоряча заявляетъ онъ, что «теперь повсюду дирижабли летятъ». Заявленіе это, помимо того, что нѣсколько преувеличено, вдобавокъ имѣетъ слишкомъ очевидную марку: «made in Italia». Едва ли обрадуютъ чей-нибудь слухъ такіе ассонансы, какъ «горло» и «перлы» («пёрлы?»), едва ли даже самые просвѣщенные гастрономы найдутъ вкусъ въ «мороженомъ изъ сирени». Не очень новы и утонченны самыя переживанія Сѣверянина. «Шампанское въ лилію», «герцогиня-Дель-Аква-Торъ» и т. п. — все это дерзанія и прозрѣнія многообщающаго гимназиста. Не въ нихъ сущность поэзіи Сѣверянина и не на нихъ основано право его на вниманіе критики.

Съ вѣншей стороны есть общее между итальянскимъ футуризмомъ и псевдо-футуризмомъ Игоря Сѣверянина: въ обоихъ настоящее, современное заявляетъ свое право на эстетическое признаніе. Но и прошлое и настоящее Италии и Россіи глубоко различны. Прошлое — великое и славное прошлое — есть реальный и крупный факторъ въ жизни со-

временныхъ итальянцевъ; оно такъ же заполняетъ, и украшая и загромождая, ихъ жизнь, и государственную, и общественную, и частную, и эстетическую, какъ заполняютъ молчаливые дворцы съ опустѣлыми окнами тѣсныя улицы ихъ городовъ. Современный итальянецъ, отвоевывая себѣ мѣсто въ жизни и въ искусствѣ, проситъ потѣсниться своихъ славныхъ предковъ,—римлянъ, флорентинцевъ, венецианцевъ и другихъ. У насъ немыслимъ подобный конфликтъ. Насъ угнетаетъ не величіе и богатство нашего историческаго наслѣдства, но то, что оно у насъ отнято. Наше право на настоящее обусловлено нашими правами наслѣдованія,—наслѣдованія того, еще сравнительно небольшого богатства, которое все же было накоплено въ теченіе нашей исторіи. Для того, чтобы стать господами настоящаго и творцами будущаго въ своей странѣ, или же потому, что мы ими уже становимся, и мы ими будемъ,—мы должны овладѣть наслѣдіемъ прошлаго, культурнымъ достояніемъ духовныхъ отцовъ нашихъ. Но кто же это «мы», и гдѣ наше наслѣдство?

Мы — это всё: таковъ лозунгъ нашего времени. Наше наслѣдіе — все: что было завсего на поляхъ Полтавы и подъ стѣнами Измаила; все, что было создано въ тиши монастырскихъ келій, въ уютѣ дворянскихъ усадебъ и въ наемной комнатѣ одинокаго мыслителя; все, что было накоплено въ музеяхъ, бібліотекахъ, галлерейхъ; все, что было выстрадано «въ глубинѣ сибирскихъ рудъ», въ казематахъ Шлиссельбурга, въ ледяныхъ пустыняхъ сѣвера,— все это наше наслѣдіе. Все то, что было въ прошломъ достояніемъ отдѣльныхъ группъ, лицъ, сословій или кружковъ,— все это должно стать въ наши дни достояніемъ всеобщимъ, всенароднымъ: «на улицу, спеціи кухню!».

Таковъ лозунгъ. Какъ и всякій лозунгъ, онъ имѣетъ значеніе лишь символическое или, какъ у насъ говорятъ, принципиальное. Живымъ носителемъ этого лозунга, его воплощеніемъ является у насъ тотъ, крайне неопредѣленный въ своихъ границахъ и въ своемъ обличіи, классъ, который

принято называть «интеллигенціей». Знатнымъ, умнымъ, красивымъ нужно родиться,—интеллигентнымъ можно сдѣлаться. Интеллигентъ — это инженеръ, писатель, адвокатъ, чиновникъ, агрономъ, музыкантъ, врачъ, профессоръ, аптекарь, просто ученый и образованный человѣкъ, безъ опредѣленной профессіи. Это тотъ классъ, который вмѣщаетъ въ себѣ всѣ живыя культурныя силы страны и который, поэтому, раньше или позже, неизбежно сдѣлается правящимъ классомъ. И каждый можетъ въ него войти, каждый можетъ стать интеллигентомъ; конечно, и это только принципъ, но принципъ, полный значенія и дѣйственности.

Каждый правящій классъ навязываетъ литературѣ свой языкъ. Мы до сихъ поръ еще пользуемся языкомъ Сергѣя Тимоеевича Аксакова. Языкъ Игоря Сѣверянина — утрированный жаргонъ современнаго интеллигента. Отсюда въ его стихахъ это изобиліе иностранщины и книжныхъ речений, эти рѣжущія ухо новообразования,— всѣ эти «экспессы», «эффектные нервы», «коктебли», «грезеры», «опринципить» и т. п. И вкусъ его — вкусъ того же средняго интеллигента. Ему нравится новое, изяшное и общедоступное. Его любимые авторы — Фофановъ и Лохвицкая; его излюбленные композиторы — Тома, Массенэ. Это — подлинное искусство, конечно, и даже, въ извѣстной мѣрѣ, утонченное, по сравненію съ Надсономъ, Травіатой и Марселемъ Прево,— но все же искусство второсортное, какъ бы нарочно выкроенное по масштабу средняго интеллигента. Правда, называетъ Игорь Сѣверянинъ и два имени совѣтъ иного ранга,— Врубеля и Оскара Уайльда; но стихи; посвященные имъ, полны диллетантизма.

Есть нѣкоторое правдоподобіе въ ходячемъ зломъ словечкѣ: «поскребите Сѣверянина, увидите Надсона». Стихи Надсона — сплошная интеллигенщина. Но на этомъ кончается сходство. Ибо стихи Надсона не только не поэзія, но даже и не литература, а одна стихотворная публицистика. Напротивъ, стихи Сѣверянина суть прежде всего явленіе литературное, ибо они непосредственно затрогиваютъ вопросы

формы. Тотъ, къ кому взываетъ Надсонъ, его «страдающей братъ», безнадежный изгнанникъ съ пиршества жизни; искусство, красота, даже отвлеченная мысль для него — недоступные цвѣты въ витринѣ дорогого магазина; онъ довольствуется трафаретками мысли, чувства и формы, лишь бы онѣ говорили ему все объ одномъ и томъ же; о томъ, что онъ страдаетъ, когда есть счастливые. Напротивъ, «граждане» Игоря Сѣверянина — настоящие господа жизни. Поэта огорчаетъ только то, что они такъ малотребовательны и такъ неразборчивы: «Ахъ, граждане, да неужели вы требуете кремъ-брюлле!» «Оглянитесь, — говоритъ онъ имъ каждымъ стихомъ своимъ, — посмотрите, сколько богатство разсыпано вокругъ васъ, повсюду; и все это — ваше. Протяните руку, не бойтесь; требуйте себѣ лучшаго, самаго утонченнаго. Выкатывайте бочки изъ глубины потаенныхъ подваловъ, пейте драгоценныя, десятилѣтними выдержанныя вина, упивайтесь ихъ сладостной крѣпостью»... Это различіе въ мироощущеніи есть не различіе двухъ историческихъ моментовъ. Надсонъ жилъ и писалъ въ тѣ дни, когда всякая жизнь замирала подъ желѣзной пяткой реакціи, и лучшихъ дней онъ не знавалъ вовсе; Сѣверянинъ выступилъ на литературное поприще въ наши дни, въ то время, когда уже никакая реакція не въ силахъ заставить насъ, вкусившихъ отъ плодовъ свободы, позабыть ихъ вкусъ. Забота о формѣ обязательна для него потому, что онъ началъ писать послѣ двадцатилѣтней почти работы Бальмонта, Брюсова и ихъ учениковъ; забота о всенародности неизбежна для него потому, что онъ началъ писать, уже переживши дни всенародныхъ волненій, восторговъ, паденій.

Правильно воспринять духъ времени — еще не значитъ быть поэтомъ; надобно еще найти путь къ его воплощенію и умѣть ступать по этому пути. Если бы Игоря Сѣверянина было одно только, сейчасъ отмѣченное нами, мы могли бы пройти мимо него молча, предоставивъ разбираться въ его стихахъ обозрѣвателямъ общественныхъ настроеній. Обратной стороной стремленія къ общедоступности всегда была и

есть опасность опошлиться, опуститься до уровня своей аудиторіи. Между Сциллою изысканности и Харибдой вульгарности есть одинъ только путь: путь углубленія содержанія до предѣловъ основного, общечеловѣческаго и упрощенія формы до границъ безусловно необходимаго, — путь къ тому искусству, которое принято называть монументальнымъ. Этимъ путемъ шли въ свое время всѣ великіе народные поэты: и Гомеръ, и Данте и Пушкинъ. Искусство можетъ быть общедоступнымъ, оставаясь подлиннымъ искусствомъ, только въ томъ случаѣ, если оно становится общеобязательнымъ, т.-е. достигаетъ той степени простоты и властности формы, при полномъ содержаніи, которое всѣми принимается невольно, какъ совершенство. Не каждому поэту дано достигнуть этихъ вершинъ творчества; но безусловно каждому значительному поэту свойственно стремленіе къ монументальности; и это стремленіе должно быть повелительнымъ требованіемъ писательской совѣсти у того, кого Аполлонъ зоветъ къ жертвѣ всенародной.

Мы не считали бы Игоря Сѣверянина поэтомъ, если бы не подмѣтили въ немъ (быть-можетъ, ошибочно) подобнаго стремленія. Чѣмъ ближе къ концу его книги, тѣмъ чаще проступаетъ у него желаніе быть «изысканно — простымъ»; и мы охотно вѣримъ молодому поэту, когда, распростившись съ шумихой своего футуризма, онъ говоритъ намъ, что душа его «влечется въ примитивъ». Спускаясь въ «застѣвчивые доли», онъ идетъ вѣрнымъ путемъ, и если онъ сумѣетъ пройти этотъ путь до конца, онъ вернется къ намъ настоящимъ поэтомъ новаго времени.

Владиміръ Шмидтъ

«Сѣверныя Записки»,
Декабрьскій № 1913 г.

* * *

РУССКАЯ ХАНДРА

Стпхотворенія Игоря Сѣверянина — не новость. Уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ молодой поэтъ издавалъ свои то-

ненькія книжечки (кажется, около 30), считая себя главой «эго-футуристовъ»,—съ трогательными объявленіями на задней сторонѣ коричневыхъ обложекъ, что интервьюеровъ онъ принимаетъ въ такіе-то дни и часы, знакомыхъ дамъ—въ такіе-то, молодыхъ поэтовъ, приходящихъ за совѣтомъ, въ такіе то. Если вѣрить этимъ объявленіямъ, то онъ былъ уже широко извѣстенъ кому-то до этого года, и только теперь Ѳеодоръ Соллогубъ представляетъ его всѣмъ русскимъ читателямъ, написавъ предисловіе къ его избраннымъ стихамъ и, надо думать, принявъ близкое участіе въ составленіи сборника: по крайней мѣрѣ, названіе его, кажется, вызвано предисловіемъ, а не обратно. Соллогубъ говоритъ въ этихъ нѣсколькихъ вступительныхъ словахъ, что онъ любитъ стихи молодого поэта, какъ «грозу въ началѣ мая». «Люблю грозу въ началѣ мая... Люблю стихи Игоря Сѣверянина. Я люблю ихъ за ихъ легкое, улыбочивое, вдохновенное происхождение. Люблю ихъ потому, что они рождены въ нѣдрахъ дерзавшей, пламенной волей упоенной души поэта... Стихи его такіе капризные, легкіе, сверкающіе и звенящіе»...

Можно не продолжать—смыслъ ясенъ: Соллогубъ открылъ поэта «легкого и сверкающаго». Тотъ, кого истомила самая тягостная изъ всѣхъ скукъ, какія когда-либо въ нашей литературѣ свились, кто создалъ для русскаго общества—рядомъ съ вдохновеннымъ культомъ смерти—злое издѣвательство надъ его пошлостью—Передонова, привѣтствуетъ въ новомъ поэтѣ «грозу въ началѣ мая». Онъ не обращаетъ вниманія на «невѣрности съ правилами піитики»,—«раздражающими и дразнящими», онѣ ему «нравятся»,—и онъ объяснилъ, почему.

Такъ смертельно заскучала душа современности, такъ ждетъ «раскатовъ перваго весенняго грома».

Дождалась ли? Гроза ли это?

Самъ о себѣ молодой поэтъ думаетъ, съ одной стороны очень высокомѣрно, съ другой—очень скромно. Съ одной—онъ называетъ себя «гениемъ Игоремъ Сѣверяниномъ»,—«сѣвернымъ бардомъ», открывающимъ новые пути и, конечно, не

признаннымъ людьми посредственными, его не понимающими, съ другой—онъ думаетъ, что онъ только одинъ изъ многихъ, предвѣщающихъ грядущаго и близкаго великаго поэта, который «всѣхъ музъ былого въ одалисокъ, — въ своихъ любовницъ претворитъ и, опьяненъ своимъ гаремомъ, сойдетъ съ бездушнаго ума». Это и есть исповѣданіе самого Игоря Сѣверянина, — онъ ставитъ себѣ въ заслугу, что онъ не признаетъ «бездушныхъ книгъ», «несносной поступи бездушныхъ мыслей», «разсудочнаго льда», «разчета лабораторій». Онъ «спряталъ въ грудь солнце», онъ «паритъ въ лазоревомъ просторѣ со свитой солнечныхъ лучей...» Отсюда и его стиль—невыдержанный, дѣйствительно капризный, по большей части необыкновенно легкій. Главный его капризъ—неологизмы, не даромъ онъ называетъ себя потомкомъ Карамзина. Эта родословная—очень поучительная вообще, но въ отношеніи неологизмовъ она можетъ быть и лестной, и нелестной: неологизмы древняго сентименталиста не отличались особенной выдумкой, но зато они стремились къ руссификаціи противнаго словаря—еще елисаветинскаго происхожденія шеголя, французившихъ въ русской рѣчи самымъ безвкуснымъ образомъ. Капризъ «потомка Карамзина» выражается, къ сожалѣнію, въ стремленіи французить тамъ, гдѣ давно уже привыкли говорить по-русски, а иногда и въ смѣшеніи французскаго съ нижегородскимъ. Новыя же его слова съ русскими корнями составлены по двумъ-тремъ шаблонамъ, заранее взятымъ, поэтому пестрятъ однообразно и надуманно. Свои стихи онъ называетъ «поэзами», «миньонетами», «героизами», «ассо-сонетами», «интуиттами», и пр.

Черезъ два обыкновенныхъ слова на третье—прибѣгаетъ къ такимъ выраженіямъ: «Лимонно-лиственный лѣсъ драпритъ стволы», «овесененный ребенокъ», «комната утрѣла», «было майно», «мечты отропили сердце», «упоенно юниться», «весна бравуритъ», «популярить изыски», «огимнить эксцессъ въ виреле», «ножки надо окалошить», «онъ готовъ осупружиться», «мечты сюрпризерки истомленно лунятся», «женоклубъ», и т. п.

И все это заключено въ стихи — звонкіе и поющіе, но не новымъ, воздушнымъ, прозрачно беззаботнымъ пѣніемъ, а той особенной звонкостью, которая слышитъ сама себя, сознаетъ себя; не подобной «птичкѣ беззаботной», а очень сознательно слагающейся въ созвучія, съ рассчитаннымъ подъемомъ и паденьемъ гласныхъ, намѣреннымъ соединеніемъ согласныхъ, соблазнительными ассонансами и другими словесными соблазнами, которые усиленно развивались у насъ подъ вліяніемъ стихотворческой виртуозности Бальмонта. Я не хочу сказать, что Игорь Сѣверянинъ разсудочнѣе многихъ, но онъ разсудочнѣе какъ и всѣ; въ немъ нѣтъ той непосредственной свѣжести, которую хочетъ видѣть въ немъ Соллогубъ, самъ истомившійся отъ сознательности — истомившійся и обрадовавшійся, какъ ребенокъ, поэзіи, которая показала ему ребячливой, младенчески-ясной!

Это исканіе младенческой ясности, свѣжести, наивности, — проходитъ черезъ наше художественное сознаніе уже довольно давно — съ тѣхъ поръ, какъ наша поэзія стала сознательно по преимуществу, т. е., съ тѣхъ поръ, какъ она объявила себя символической. Съ тѣхъ поръ и начались мучительныя поиски непосредственности, сначала оставаясь въ предѣлахъ романтическихъ, — и здѣсь развился культъ Блока, который самъ томился тоской по жизни; потомъ эта тоска сказала въ увлеченіи мифологизмомъ Городецкаго; въ прошломъ году сдѣлана была попытка найти новаго Кольцова въ Ключевѣ; въ этомъ году открылась борьба «акмеистовъ» съ символистами противъ ихъ отвлеченности, — наконецъ, сейчасъ одинъ изъ отвлеченнѣйшихъ нашихъ поэтовъ предлагаетъ намъ «легкую» поэзію Игоря Сѣверянина.

Соллогубъ не совершенно не правъ, такъ же, какъ правда была и въ увлеченіи Городецкимъ: Вяч. Ивановъ, философъ въ стихахъ, безсильный сложить пѣсню, слагалъ лишь философическія стихотворенія, — у его ученика — Городецкаго, сказался даръ вольной пѣсни; Соллогубъ, тоже безсильный сложить вольную пѣсню, слагаетъ изреченія и молитвы, — у Игоря Сѣверянина есть даръ пѣнія, болѣе непосредственный,

можетъ-быть, чѣмъ у Городецкаго, «пѣвшаго» по Вяч. Иванову. Но въ этихъ пѣвучихъ стихахъ новаго поэта, — именно нѣтъ той внутренней «улыбчивости», — того, что Соллогубъ хотѣлъ бы видѣть въ нихъ, называя ихъ «вдохновенными по происхожденію». Игорь Сѣверянинъ — не дитя, онъ сознаетъ себя. Сознаетъ и звонъ своихъ стиховъ, и его переливы, и свои словарныя новшества. Онъ хорошо и точно воспринимаетъ окружающее, поэтому онъ умѣетъ «описывать» природу, — рѣдкій даръ у лириковъ въ настоящее время... Но и это все не такъ важно, все это можно было бы въ разной степени оспаривать; но вотъ что безспорно, — эта та внутренняя подпочва, которая лежитъ, какъ тяжелая залежь подо всей, принципиально исповѣдуемой имъ — его интуиціей, подъ признаніемъ солнца, горящаго въ небѣ и «спрятаннаго въ его груди», — это то, что лежитъ глубже его собственнаго сознанія, — прорываясь, однако, сквозь его звонкія строфы, иногда формируя за образами, — иногда въ случайныхъ, точныхъ формулахъ. Это та же тоска по жизни, и, кажется еще болѣе рѣзкая — тоска отъ жизни — скука!

Недугъ, котораго причину,
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому сплину —
Короче — русская хандра...

У Онегина были предки, утверждалъ Ключевскій; пришли и потомки, какъ давно уже говорилъ Добролюбовъ. Мѣнялись условія, видоизмѣнялся соотвѣтственно и типъ, но по существу онъ все тотъ же, потому что тѣ же въ сущности своей остаются условія; и еще самъ Пушкинъ варьировалъ этотъ національный «недугъ въ другомъ мѣстѣ»:

Мнѣ скучно, бѣсь! — Что дѣлать, Фаустъ!
Таковъ вамъ положень предѣль...

Обложка книги стиховъ Игоря Сѣверянина напечатана сиреневыми буквами. Второй отдѣлъ, центральный въ книгѣ, называется «Мороженое изъ сирени»; первый, вступительный

къ нему — «Сирень моей весны». Сирень въ разныхъ вариантахъ упоминается во всей книгѣ какъ «эмблема сладострастія» — на ряду съ лиліями, конечно, эмблемами невинности. Въ первомъ отдѣлѣ излагается исторія «страсти нѣжной» — *ars amandi*. — Эта «сирень весны», очень скоро отцвѣтшей, какъ всякіе цвѣты чувственности; а «мороженое изъ сирени» и заключаетъ въ себѣ исконную русскую хандру — въ новой разновидности, очень современной: наружно-жизнерадостную, и даже бурную, а внутренно-томящуюся, если вникнуть въ эту юношескую поэзію, въ ея душу, не считаясь съ ея словесными затѣями.

Послѣ первой, помѣщенной въ сборникѣ, чувственной по смыслу и холодной по выраженію, пьесы, — мы читаемъ вызывающую самымъ своимъ мотивомъ чувство элегическое; третья пьеса — гораздо радостнѣе. Вотъ энергическія строки изъ нея:

... Душа поетъ и рвется въ поле,
Я всѣхъ чужихъ зову на «ты»...
Какой просторъ, какая воля.
Какія пѣсни и цвѣты!
.....
Шумите, вешнія дубравы!
Расти трава! Цвѣти, сирень!
Виновныхъ нѣтъ: всѣ люди правы,
Въ такой благословенный день!

Но развѣ эти заключительныя слова — не слова самоубѣжденія? Не отказъ отъ печали на одинъ день? Четвертое стихотвореніе называется «Въ грѣхѣ забвеніе» и, прочитавъ его, внимательный читатель уже не забудетъ его, дочитывая дальше всю книгу:

Вся радость въ прошломъ, такомъ далекомъ и безвозвратномъ,
А въ настоящемъ, — благополучье и безнадежность,
Устало сердце и смутно жаждетъ въ огнѣ закатномъ
Любви и страсти — его плѣняетъ неосторожность.

О «благополучьѣ» упомянуто не случайно; въ слѣдующей строфѣ оно повторяется;

Устало сердце отъ узкихъ рамокъ благополучья,
Оно въ уныньѣ, оно въ оковахъ, оно въ томленьѣ.
Отчаясь вѣрить, отчаясь грезить, въ нѣмомъ безлучьѣ
Оно трепещетъ такую скорбью...

«Жизнь чаруетъ и соблазняетъ», но «сердце въ смущеньѣ»: «оно боится.. благополучье свое нарушить». Но жизнь проходитъ — смерть неизбежна — сердце человѣка одиноко и не чувствуетъ связи со вселенной. И вотъ — выходъ: благополучью противопоставлено безумье одинокаго сердца; добродѣтели — грѣхъ, въ которомъ забвеніе отъ скорби:

«О, сердце, сердце! — твое спасеніе въ твоемъ безумьѣ!
Горѣть и биться, пока ты можешь, — гори и бейся!
Грѣши отважнѣй! пусть добродѣтель удѣломъ мумій:
Въ грѣхѣ забвеніе, а тамъ хоть пуля, а тамъ хоть рельсы!»

Теперь все уже ясно, и не читая до конца; но у кого есть еще сомнѣніе въ томъ, что предъ нами новый Онѣгинъ со старой русской хандрой, съ возможностью забыться лишь въ нарушеніи обычностей, въ случайныхъ развлеченіяхъ, въ случайныхъ жестокостяхъ, — пусть прочтетъ и конецъ стихотворенія. Это не та смертная скука, которая переходитъ въ озлобленіе къ жизни, и ждетъ смерти — какъ у Лермонтова. Она способна себя тѣшить — это именно хандра:

Больное сердце!..
Живи, ты право! Сомнѣнья — мимо!
Ликуй же, сердце! — еще ты юно!
И бейся шумно!

Такъ новый эпикуреизмъ вырастаетъ на почвѣ старой «душевной пустоты».

Весь первый отдѣлъ книги — малосамостоятельный, хотя и очень искренній, напоминаетъ по манерѣ кумировъ автора — Фофанова и Лохвицкую — въ стихахъ такихъ же звучныхъ, но часто — такихъ же тривиальныхъ. Отмѣчу только, что именно въ этомъ отдѣлѣ есть живыя черты «пейзажа и

жанра» — указание на реалистическое настроение поэта, чуждое отвлеченной символики.

Жду, не дождусь весны и мая,
Цветовъ, улыбокъ и грозы,
Когда потянутся, хромая,
На дачу съ мебелью возы...

«Хромать» еще лучше в другомъ мѣстѣ и въ другомъ смыслѣ; въ пьесѣ осенней:

Люблю октябрь, угрюмый мѣсяць,
Люблю обмершіе лѣса,
Когда хромаетъ ветхій мѣсяць
Какъ половина колеса.

Такия «тютчевскія» черты, какъ «морозомъ выпитыя дужки» — въ томъ же описаніи дальше, — можно отмѣтить во многихъ стихотвореніяхъ, къ сожалѣнію, рѣдко выдержанныхъ. Въ «деревнѣ, гдѣ скучалъ Евгений», какъ характерно сказано въ эпиграфѣ къ одной изъ пьесъ этого отдѣла ему случалось сблизаться и съ народомъ, больше всего — наблюдая русскіе праздничные нравы, а иногда самому, заражаясь бодрящимъ воздухомъ лѣтняго утра, — почувствовать себя «вольнымъ сыномъ природы», заигрывая съ «поселянками». Одна изъ пьесъ названа «Русская». Это интеллигентская «Камаринская», сочиненная русскимъ бариномъ, ищущимъ забвенія отъ скуки въ деревенскихъ удовольствіяхъ:

Кружеветъ, розовѣтъ утромъ лѣсъ,
Паучокъ по паутинкѣ вверхъ полѣзъ.
Бриллиантится веселая роса;
Что за воздухъ! что за свѣтъ! что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видѣть птичку, лягушенка и осу.
Слушать соннаго горлана-пѣтуха,
Обмѣняться съ дальнимъ эхомъ: «ха, ха, ха!»
Ахъ, люблю безцѣльно утромъ покричать,
Ахъ, люблю въ березахъ дѣвку повстрѣчать,

Повстрѣчать и, опираясь на плетень,
Гнать съ лица ея предутреннюю тѣнь,
Пробудить ея невыспавшійся сонъ,
Ей повѣдать, какъ въ мечтахъ я вознесенъ,
Обхватить ея трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни какъ-нибудь!».

Въ такой же французско-нижегородской, но остроумной манерѣ, написаны и «Пляска Мая» и «Chanson russe»... Вспомните Некрасовскаго «русскаго путешественника» по крѣпостнымъ деревнямъ: «Я путешествовалъ недурно. Русскій край оригинальности имѣетъ отпечатокъ»...

Зато въ городѣ новый Онѣгинъ чувствуетъ себя еще больше самимъ собой, чѣмъ старый, Пушкинскій. Хандра ждетъ его здѣсь даже не «на стражѣ» — она прямо распоряжается его душой, опредѣляетъ каждое минутное его строеніе. Это и есть второй отдѣлъ книги «Мороженое изъ сирени»... короче — русская хандра!

«Усталое сердце» «плѣняетъ неосторожность», «безуміе», «грѣхъ», «а тамъ — хоть пуля, а тамъ — хоть рельсы!» Этому, до смерти скучающему внутри себя, эпикурейскому самозабвенію и предается новый Онѣгинъ въ городѣ; и эту невеселую игру жизнью выражаетъ въ звукахъ, на самомъ дѣлѣ очень свободныхъ, но словами, еще болѣе пестрыми. Въ пьесѣ «Фиолетовый трансъ» поэтъ говоритъ, какъ, выпивъ однажды «фіалковый фіалъ грезъ фіалокъ», «лиліи ликеровъ» — Crème de Violette, онъ «приказалъ немедля подать кабріолетъ», и «вздрогнувшій моторъ, какъ жеребецъ заржавшій, пошелъ на весь просторъ», а «вѣтеръ восхищенный» «сорвалъ съ головы поэта его беретъ:

Я приказалъ дать «полный», я нагло приказалъ
Окладывать природу и перепутать путь.
Я выбросилъ шоффера, когда онъ отказалъ,
Взревѣлъ! и сквозь природу — во всю и какъ-нибудь!
Встрѣчалась ли деревня — ни голосовъ, ни избъ!
Врѣзался въ чернолѣсье, — ни дерева, ни пня?
Когда-бъ моторъ взорвался, я руки перегрызъ-бъ!!
Я опьянѣлъ грозью, все на пути пьяня!

Если вообще можно оправдывать жестокости, то шоферъ былъ выброшенъ не напрасно опьянѣвшимъ поэтомъ: безумная поѣздка на автомобилѣ кончилась «благостнымъ исходомъ» —

И вдругъ, безумнымъ жестомъ остолбленъ клевоходъ:
Я лилію замѣтилъ у ската въ водопадъ...

И все измѣнилось въ душѣ, обезумѣвшей отъ скуки, не знающей куда себя дѣвать, что выдумать, чтобы ее залить:

Я упоенъ. Я вешній. Я тихій. Я грезеръ.
И развѣ виноватъ я, что лиліи колетъ
Такъ рѣдко можно встрѣтить,
Что путь безъ лилій сѣрь...

Итакъ, вотъ отчего «грезеръ» выбросилъ шоффера, и вотъ почему «грезерки» безцѣльно качаются въ «гамакахъ камышовыхъ», въ которыхъ «стоитъ лишь повертѣться»:

И загрязится сердце:
Все на свѣтѣ возможно, все для васъ ничего;
Покачнетесь вы влѣво,—
Королеву королева,
Властелинша планеты голубыхъ антилопъ...
.....
Покачнетесь вы вправо,
Улыбнется вамъ слава,
И дохнетъ ваше имя, какъ цвѣты райскихъ клумбъ ..

Это бѣгство отъ жизни, отъ ея скуки, отъ «сѣрыхъ путей» въ мечты, — а жизнь пусть идетъ себѣ какъ попало!

Шампанское въ лилію! Шампанское въ лилію!
Ея цѣломудріемъ святѣетъ оно...

Я славлю восторжено Христа и Антихриста

(Что камъ до нихъ!),

Душою обожженной восторгомъ глотка!
Голубку и ястреба! Рейхстагъ и Бастилію

(Что и до нихъ?),

Кокотку и схимника! Порывность и сонъ!
Въ шампанское лилію! Шампанскаго въ лилію!...

Но — больше всего, еще больше, чѣмъ мечты и лиліи, — чувственность! Чѣмъ изысканнѣе, чѣмъ мгновеннѣе, тѣмъ вѣрнѣе: вдругъ хандра и уйдетъ со своей проклятой «стражи»!.. Но она не уходитъ, какъ бы ни становилась «душа-грезера,—какъ рай—нелѣпа»:

О, фешенебельныя темы! отъ васъ тоска моя развѣется...

Нѣтъ! Не развѣвается. Все безвыходно кончается слѣдующимъ, какъ называется поэтъ, «квадратомъ квадратовъ», напомнимъ по смыслу прежнее «въ грѣхѣ забвенье»:

«Никогда, ни о чемъ не хочу говорить...
О, повѣрь!—я усталъ, я совсѣмъ изнемогъ...
Былъ года палачомъ,—палачу не парить...
Точно звѣрь залупталъ межъ поэмъ и тревогъ...
Ни о чемъ никогда говорить не хочу...
Я усталъ... О, повѣрь! изнемогъ я совсѣмъ» и т. д.

Слѣдующая за этимъ фатальнымъ «квадратомъ» пьеса еще вразумительнѣе названа: «Въ предгрозе». Вы вспоминаете при этомъ предисловіе Соллогуба о «грозѣ въ началѣ мая». Вотъ настоящее названіе для всей книги! Молодой поэтъ, несомнѣнно, владѣетъ даромъ поющей рѣчи — но это поетъ скучающая въ «предгрозѣ» душа, и потому она поетъ не просто,—а съ хитростями и фокусами — отъ скуки душевной. Въ поэзіи его не слышны раскаты грома—даже отдаленные, и книга его—не громокипящій кубокъ, уроненный съ неба. Когда пронесется гроза, упадетъ и ея кубокъ—поэзія великой вѣры и счастья!

А пока остается—отъ скуки, не зная, куда дѣвать себя, отдавать «наглыя приказанія» шофферамъ и слагать демоническія привѣтствія «агасферамъ морей»:

Вижу, капитанъ «Скитальца-Моряка»,
Вѣчный странникъ,

Вижу, какъ твоя направлена рука
На „Titanic“...
Вѣрю, капитанъ «голландца — летуна».
Врагъ боязни.
Вѣрю, для тебя — пустать караванъ до дна —
Страстный праздникъ...
.....
Руку, капитанъ, товарищъ по судьбѣ
Мой дружище!

«Что дѣлать, Фаусты! Таковъ вамъ положень предѣлъ.
Вся тварь разумная скучаетъ... Зѣвай и ты!...» — «Все утопить!».
Такъ переживается наше предгрозе.

Владимиръ Гунтузе

«Рѣчь» 24/VI 13. № 169.

* * *

ЧЕЛОВѢКЪ, КОТОРАГО ЖАЛЬ

«Русское Слово» любезно прислало мнѣ двѣ книжки стиховъ поэта, пишущаго подъ псевдонимомъ Игоря Сѣверянина, съ предложеніемъ высказаться объ этомъ новомъ и, кажется, весьма многоразумномъ явленіи російскаго Парнасса.

Къ сожалѣнію, просмотрѣвъ присланныя книжки, вижу, что я въ состояніи судить въ полной мѣрѣ лишь о весьма незначительной части ихъ содержанія, а болѣе или менѣе — о части, хотя обширнѣйшей сравнительно съ первою, но все же слишкомъ малой въ общей суммѣ страницъ. О громадномъ же большинствѣ произведеній г. Игоря Сѣверянина признаю себя совсѣмъ неспособнымъ судить, — по той простой причинѣ, что незнакомъ съ языкомъ, на которомъ они написаны. Словаря и грамматики языка этого книгоиздательство, выпускающее сборники стиховъ г. Игоря Сѣверянина, къ сожалѣнію, не догадалось приложить къ изящнымъ своимъ томикамъ. Это — большая ошибка. Когда Гоголь обнаруживалъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», онъ, имѣя въ виду удобство читателей, приложилъ къ книжкѣ словарь встрѣчающихся въ ней малороссійскихъ реченій. Между тѣмъ,

малороссійское нарѣчіе гораздо ближе къ русскому языку, чѣмъ то, на которомъ, по большей части, пишетъ г. Игорь Сѣверянинъ, иногда предаваясь этому загадочному диалекту цѣликомъ, иногда дѣлясь между нимъ и русскою рѣчью.

О непонятной мнѣ части я ограничусь лишь замѣчаніемъ, что, судя по смѣшенію въ языкѣ ея латинскихъ корней съ славянскими суффиксами и флексіями, языкъ этотъ близокъ къ румынскому. Приблизительно такимъ нарѣчіемъ изъясняются музыканты румынскихъ оркестровъ послѣ того, какъ проиграютъ сезона два-три въ русскихъ ресторанахъ и увеселительныхъ садахъ. Филологическая догадка моя о румынскомъ происхожденіи языка г. Игоря Сѣверянина находитъ себѣ подтвержденіе въ довольно частомъ упоминаніи потомъ о румынской націи, и именно въ ресторанной ея разновидности. Напримѣръ:

То клубничкой, то баваномъ
Пахнетъ кремовой жасминъ,
Пышно-приторнымъ дурманомъ
Возсоздавъ оркестръ румынъ.

И черезъ двѣ страницы опять:

А иголки Шартреза? а шампанскаго кегли?
А стеклярусь на окнахъ? а цвѣты? а румыны? *)

*) Впрочемъ, кромѣ языка румынскаго, г. Игорь Сѣверянинъ прибѣгаетъ иногда къ помощи и другихъ нарѣчій. Такъ, напримѣръ, въ «Увертюрѣ» къ отдѣлу «Колье принцессы»:

Колье принцессы — аккорды лиры,
Вѣнки созвѣздіи и ленты лье,
А мы, эстеты, мы — ювелиры,
Мы ювелиры такихъ колье.

Ясно, что «лье», во второмъ стихѣ — третье лицо единственнаго числа настоящаго времени отъ глагола «лить», спрягаемаго на малороссійскомъ нарѣчій... Смыслъ стиховъ таковъ: «Колье принцессы лье аккорды лиры, вѣнки, созвѣздіи и ленты»... Правда, одинъ недоброжелатель г. Игоря Сѣверянина увѣрялъ меня, будто «лье» здѣсь — французскому *lieu*, но сіе невѣроятно уже потому, что *lieu* произносится по-русски «льѣ». И тогда, — для того, чтобы стихи сохранили созвучіе, — пришлось бы читать на концѣ четвертаго стиха не «колье», а «кольѣ», что составляетъ большую разницу. «Колье принцессы», — это давай Богъ каждому, но «кольѣ принцессы», — это ужъ изъ тургеневскаго Пигасова...

Мнѣ тѣмъ болѣе прискорбно не понимать г. Игоря Сѣверянина въ значительнѣйшей долѣ его творчества, что въ той долѣ, которая мнѣ совершенно понятна, его поэзія мнѣ очень нравится. Это ли, напимѣрь, не прелесть?

Быть-можетъ, оттого, что ты не молода,
Но какъ-то трогательно-больно моложава,
Быть-можетъ, оттого я такъ хочу всегда
Съ тобою вмѣстѣ быть; когда, смѣясь лукаво,
Раскроешь широко влекушіе глаза,
И блѣдное лицо подставишь подъ лобзанья,
Я чувствую, что ты — вся нѣга, вся гроза,
Вся молодость, вся страсть; и чувства безъ названья
Сжимають сердце мнѣ плѣнительной тоской,
И потерять тебя боязнь моя безмѣрна...
И ты, меня понявъ, въ тревогѣ головой
Прекрасною своей вдругъ поникаешь нервно,—
И вотъ другая ты: вся — осень, вся — покой...

(Громокипящій кубокъ. Въ очарованіи).

Или:

Въ паркѣ плакала дѣвочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка,—
Я возьму птицу бѣдную и въ платочекъ укутаю»...
И отецъ призадумался, и о т р я с е н н ы й м и н у т о ю,
И простилъ всѣ грядущіе и капризы и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей отъ жалости.

(За псключеніемъ двухъ словъ, пригнанныхъ для риомы: «Потрясенный минутою», которая расхолаживаютъ впечатлѣніе своею газетною прозаичностью).

Такихъ вещей въ двухъ книжкахъ г. Игоря Сѣверянина — «Громокипящій кубокъ» и «Златолира» (что, по-русски, должно обозначать, вѣроятно, «Золотую лиру»), наберется болѣе дюжины: «Все по-старому», «Викторія регія», «Газелла», «Эхо», «Обѣ вы мнѣ жены», «Nocturne», «Только мигъ», «Солнце землю цѣловало», «Прелюдія» («Лунныя тѣни»), «Звѣзды», «Ничего не говоря», «А если нѣтъ», «Градъ»... Все это чрезвычайно, какъ говорится, «мило»: пѣвуче, моло-

до, свѣжо, искренно, часто страстно. Подкупаетъ простотою и нѣжностью, показываетъ въ авторѣ способность къ изяществу стиха и риомы, большую гибкость, яркую звучность... Правда, всѣ безъ исключенія стихи эти безусловно подражательны и «навѣяны», при чемъ въ выборѣ образцовъ г. Игорь Сѣверянинъ переливается на тысячи ладовъ, отъ Лермонтова до Бальмонта, но въ молодомъ поэтѣ не такой ужъ это большой грѣхъ. Юный Лермонтовъ подражалъ Байрону, почему же юному г. Игорю Сѣверянину не подражать Лермонтову? Люди скромные находятъ даже, что хорошая копія лучше плохого оригинала... И нельзя не сознаться, что правило это какъ нельзя болѣе оправдывается г. Игоремъ Сѣверяниномъ. Покуда, онъ весь — талантливый перепѣвъ слышаннаго-читаннаго. Въ области перепѣва онъ не только силенъ, но даже прямо-таки поражаетъ растяжимостью своей способности примѣняться къ чужимъ мелодіямъ, часто до полнаго съ ними сліянія. Способность эту онъ начинаетъ проявлять уже съ заглавія первой своей книжки «Громокипящій кубокъ», которое взялъ взаймы у Тютчева, и продолжаетъ до послѣдней страницы второй... il prend son bien où il le trouve,— и при этомъ, надо отдать ему справедливость, добродушно невзыскателенъ къ источникамъ. Такъ, напимѣрь, первая же страница первой книжки поетъ и воркуетъ читателю:

Тебѣ одной всѣ пылкія желанья,
Души моей и счастье и покой,
Всѣ радости, восторги, упованья
Тебѣ одной...

Ахъ, нѣтъ, виноватъ: это какъ-разъ не г. Игоря Сѣверянина сочиненіе. У него не совсѣмъ такъ:

Очамъ твоей души — молитвы и печали,
Моя болѣзнь, мой страхъ, плачъ совѣсти моей,
И все что здѣсь въ концѣ, и все, что здѣсь въ началѣ,—
Очамъ души твоей...

Не правда ли, мило? Читая, искренно сожалѣлъ я, что умерли Я. Пригожій и Саша Давыдовъ... Какую бы первый музыку написалъ къ этимъ стишкамъ, а второй какъ бы исполнилъ ее, «со слезою», подъ гитару!.. И сколько чувствительныхъ барышень потомъ трогательно звенѣло бы ее фальшивыми голосенками въ домикахъ, гдѣ на окнахъ цвѣтутъ герани, а къ потолкамъ привѣшены клѣточки съ канарейками...

Любимыми образцами г. Игоря Сѣверянина, коимъ онъ подражаетъ уже совершенно сознательно и убѣжденно и о томъ многократно заявляетъ, остаются Фофановъ и Мирра Лохвицкая. Долженъ признаться, что здѣсь я вполнѣ радѣляю вкусъ г. Игоря Сѣверянина, особенно, что касается Мирры Лохвицкой,—поэтессы, иногда возвышавшейся (въ лирикѣ) почти до гениальности... Фофанова я меньше знаю. Г. Игорь Сѣверянинъ посвятилъ ему много стиховъ, изъ которыхъ многіе хороши, и если не всегда складны, то подкупаютъ искренностью. Что касается Лохвицкой, г. Игорь Сѣверянинъ такъ прямо и восклицаетъ:

— Я и Мирра!

Соединеніе это кажется мнѣ немножко слишкомъ храбримъ и преждевременнымъ. Со своимъ «мирропомазаніемъ» г. Игорю Сѣверянину надо еще погодить, да и погодить: такихъ наградъ не берутъ авансомъ. Мирра Лохвицкая, велика ли она, мала ли, но вся была, прежде всего, именно сплошь оригинальна и задумчиво, пламенно смѣла. Хотя жизнь ея была короткая, она успѣла сказать нѣсколько своихъ словъ и внесла ими въ копилку русской литературы нѣсколько своихъ мыслей. Ими потомъ, вотъ уже цѣлое десятилѣтіе, проповѣдываются разные господа-поэты, отъ нихъ же первый и, къ чести его, наиболѣе откровенный—г. Игорь Сѣверянинъ. Въ этомъ категорическая разниа Мирры Лохвицкой съ г. Игоремъ Сѣверяниномъ, талантливымъ подражателемъ, у котораго именно какъ-разъ своихъ-то словъ еще и нѣтъ. На 126—131 страницахъ стиховъ ему не удалось ни однажды выразить мысли, создать образъ, вызвать къ жизни форму,

которыхъ не знали бы прежніе поэты и не прибѣгали бы къ нимъ съ гораздо большимъ искусствомъ и удачею. Поэтому, когда г. Игорь Сѣверянинъ связываетъ себя въ чету съ «Миррой», это производитъ впечатлѣніе такой же неудачной претензіи, какъ если бы... ну, хоть Подолинскій, что ли, сказалъ:

— Я и Пушкинъ.

Или милѣйшій челоуѣкъ, покойникъ Ліодоръ Ивановичъ Пальминъ:

— Я и Гейне.

Конечно, въ измѣненныхъ пропорціяхъ, потому что Мирра Лохвицкая—не Пушкинъ и не Гейне... Но она все же ихъ породы, а порода г. Игоря Сѣверянина еще совершенно не опредѣлилась. Мирра Лохвицкая—уже явленіе демоническое, а г. Игорь Сѣверянинъ—еще явленіе обывательское. И въ очень большой степени. Говорю, конечно, о породѣ поэтической, потому что дворянскую свою родословную г. Игорь Сѣверянинъ намъ сообщаетъ съ предупредительностью... именно истиннаго обывателя въ фуражкѣ, съ краснымъ околышемъ:

Извѣстно ль тѣмъ, кто вмѣсто нарда,
Кадить мнѣ гарный дымъ бревна,
Что въ жилахъ сѣвернаго барда
Струится кровь Карамзина?
И вовсе жребій мой не горекъ!..
Я вѣрю, доблестный мой дѣдъ,
Что я—въ поэзіи историкъ,
А ты—въ исторіи поэтъ!

Увы! Демонъ подражательности, владычій г. Игоремъ Сѣверяниномъ, лишилъ его оригинальности даже въ родословной. Ибо кому же неизвѣстно, что на святой Руси уже полвѣка лѣтъ (или, если г. Игорю Сѣверянину больше нравится, лѣе) чернила другой знаменитый писатель, который, можно сказать, уши прожужжалъ своему отечеству вотъ этимъ же самымъ хвастовствомъ, что онъ—«внукъ Карамзина»... И писатель этотъ—князь Владиміръ Петровичъ Мещерскій!.. Tanto nomini nullum par elogium.. Н-да... Внукамъ-то хорошо хвастать, а вотъ каково дѣду!

Продолжая обзоръ тѣхъ тяготящаго надъ г. Игоремъ подражательнаго фатума, нахожу въ «Златолирѣ» его, такъ сказать, гражданскую исповѣдь:

Я славлю восторженно Христа и Антихриста,
Голубку и ястреба, рейхстагъ и Бастилю, (Г. И.)
Кокотку и схимника, порывность и сонъ...

Охватъ поэтической компетенціи безспорно широкій, однако, опять-таки не побившій былыхъ рекордовъ. Уже пятьдесятъ четыре года назадъ Русь ознакомилась съ великимъ поэтомъ, носившимъ скромное имя Якова Хама, который

На все отозвался,—ни слабо, ни рѣзко,—
Воспѣлъ Гарибальди, воспѣлъ и Франческо *)...

Предупрежденный въ «направленіи» Яковымъ Хамомъ, въ этической проповѣди г. Игорь Сѣверянинъ является открывать Америку послѣ «Санина» и, по крайней мѣрѣ, тысячу десяти «русскихъ нищепанцевъ», включая въ число послѣднихъ и г. Анатоля Каменскаго, рекордъ котораго г. Игорь Сѣверянинъ тщетно пытается побить въ своей «Катастрофѣ»... Далеко кулику до Петрова дня! То, для чего поэту понадобилось желѣзнодорожное крушеніе съ остановкою въ 18 часовъ, герои г. Каменскаго обрабатывали въ пять минутъ, на ходу поѣзда!

Г. Игорь Сѣверянинъ не чуждъ горестнаго сознанія насмѣшекъ преслѣдующаго его рока и борется съ своимъ злымъ демономъ на всѣхъ, такъ сказать, платформахъ поэтического творчества. Не имѣя оригинальныхъ идей, онъ пытается взять реваншъ, по крайней мѣрѣ, на оригинальной формѣ, вертя оную сѣкъ и такъ. Этими полезными техническими упражне-

*) Яковъ Хамъ имѣлъ нѣкоторое сходство съ г. Игоремъ Сѣверяниномъ и въ томъ отношеніи, что, подобно тому, какъ г. Игорь Сѣверянинъ творитъ стихи свои на румынскомъ нарѣчьи и потомъ уже усиленно переводитъ ихъ на русское, такъ и Яковъ Хамъ изливалъ свои вдохновенія на австрійскомъ языкѣ (румынскомъ, даже пограничномъ), а переводилъ ихъ для россіянъ Н. А. Добролюбовъ.

ніями онъ, дѣйствительно, развилъ въ себѣ ловкость, которую, если бы дѣло шло не о поэтѣ, можно было бы опредѣлить акробатическою. Такъ, на страницѣ 45-й «Златолиры» онъ обрушиваетъ на читателя замѣчательный фокусъ, въ видѣ рѣдкостно-богатаго подбора однозвучной мужской риѣмы:

Д у р а к ъ .

Жилъ да былъ въ селѣ «Гуляйномъ» дьякъ-дуракъ,
Глоткой—прямо первый сортъ, башкою—бракъ.
Разъ объѣлся пирогами,—да въ баракъ,
А поправился, купилъ потертый фракъ,
Да съ Феклушею вступить желаетъ въ бракъ.
Али ты, дуракъ, своей свободѣ врагъ?
А зачѣмъ, дуракъ, ночной бываетъ мракъ?
А зачѣмъ, дуракъ, у лѣса есть оврагъ?
Али съѣсть тебя, дуракъ въ оврагѣ ракъ?
Вотъ-то дурень, дуралей-то! Вотъ дуракъ!
Не стихарь тебѣ носить бы, а чепракъ!
Ну, не все ль равно, что свекла, что буракъ?
Коди трусь, такъ не задумывалъ бы вракъ,
А молился бы угодникамъ у ракъ,
Да поигрывалъ съ помѣщикомъ въ трикъ-тракъ,
Попивая вмѣстѣ ромъ или аракъ!

Однако, къ сожалѣнію, и замысловатая жонглировка «ракомъ» и «дуракомъ», изобрѣтена не г. Игоремъ Сѣверяниномъ. Бергольдомъ Шварцемъ этого пороха былъ В. П. Буренинъ, слишкомъ тридцать лѣтъ назадъ превесело рассказавшій публикѣ ужасную «Ирландскую балладу»:

Проснулся въ полночь Макъ д'Урракъ,
Проснулся блѣдень и смушень,
Ему во снѣ приснился ракъ:
Что значить этотъ страшный сонъ?
Привсталъ на ложѣ Макъ д'Урракъ,
Дрожигъ онъ, дыбомъ волоса;
Кругомъ его лишь ночи мракъ,
Съ нимъ рядомъ спитъ Эдиень-краса.
«Эдиень!»—воскликнулъ Макъ д'Урракъ.
Склонясь къ супругѣ молодой —

Вставай! Вставай! Мнѣ снился ракъ,
 Мнѣ снился ракъ во тьмѣ ночной!..».
 На мигъ Эдиовъ открыла зракъ,
 И молвить, внявъ рѣчамъ его:
 «И сонъ твой глупъ, и ты дуракъ»,—
 И все.. и больше ничего!
 И въ тьмѣ ночной Макъ д'Урракъ,
 Эдиовъ внявши злой упрекъ,
 Поправилъ свой ночной колпакъ
 И вновь до утра спать залегъ.

Притомъ... перечитавъ сейчасъ балладу г. Игоря Сѣверянина о дьякѣ дуракѣ и ракъ, я съ удивленіемъ замѣтилъ, что, покуда я ее переписывалъ, она удлинилась на шесть стиховъ, которыхъ нѣтъ въ книгѣ... Откуда взялся этотъ приростъ? Очевидно, это—машинальный результатъ бессознательнаго творчества, пробужденнаго даже во мнѣ, который менѣе всего поэтъ, легкостью и бойкостью риомъ г. Игоря Сѣверянина... Подумайте, что же, на моемъ мѣстѣ, совершилъ бы мастеръ, специально преданный дѣлу «риомнчества», либо даже не мастеръ, а просто счастливецъ, снабженный хорошимъ словаремъ риомъ? Вѣдь, только выдержала бы поясница, а то подобный специалистъ можетъ этакъ сидѣть да риомовать съ утра до вечера, а если не упадетъ въ сонную одурь, то и съ вечера до утра... Сколько бумаги возможно унавозить столь почтеннымъ способомъ,—даже невообразимо! Говоря словомъ г. Игоря Сѣверянина, *avis auct* тѣ, кого пугаютъ слишкомъ быстрые успѣхи финляндской промышленности.

По всей вѣроятности, именно отчаяніемъ проявить оригинальность въ творчествѣ на языкѣ русскомъ объясняется обращеніе г. Игоря Сѣверянина къ какому-то румынскому нарѣчію, которое ему, повидимому, болѣе знакомо.

Душа твоя, эоля,
 Ажурить розофлеръ.
 Гондола ты, Миньоля,
 А я—твой гондольеръ.

Что сіе обозначаетъ,—какъ уже сказано, судить не берусь. Но звучитъ нисколько не хуже эсперанто. Можетъ-

быть, это оно самое и есть? Стихотворенія г. Игоря Сѣверянина, написанныя на невѣдомомъ языкѣ, дѣлятся на рондели, поэмы, диссоны, ингуитты, героизы, вирелэ, кокетты, миньонеты, хабанеры, коктейли и пр. Съ любопытствомъ ознакомившись съ этими новыми поэтическими категоріями, я, однако, не могъ найти въ нихъ разницы съ обыкновеннѣйшими элегіями, посланіями, балладами и прочими родами и видами поэзіи, къ которымъ пріучилъ насъ добрый старикъ Стоюнинъ. Развѣ лишь что въ большинствѣ «поэзъ» ужъ очень хромаетъ размѣръ, и изъ рукъ вонъ плохи риомы. Говорю, конечно, опять лишь о риомахъ, принадлежащихъ русскому языку. Какъ-то: «Врубель» и «убыль»; онъ же, «Врубель», и «рубль»; «видѣль» и «гибель»; «Арагва» и «нагло»; «поносили» и «безсилъ»; «близокъ» и «одалисокъ»; «признаться» и «Надсонъ»; «обувь» и «холоповъ»; «тосты» и «звѣзды»; «пихтъ» и «выходъ»; «конусъ» и «соусъ»...

Въ румынскомъ произношеніи все это, можетъ-быть, и созвучно, но русскому уху нѣсколько чуждо. Если эти не столько риомы, сколько оскорбленія слуха дѣйствіемъ, рождены поэтомъ не въ результатѣ лингвистическаго недоразумѣнія, а по предварительному умыслу, все въ той же погонѣ за рекордомъ оригинальности, то приходится предупредить г. Игоря Сѣверянина, что онъ и тутъ опоздалъ. Давно уже сриемованы не только «пуговица» и «богородица», «медвѣдя» и «дядя», но даже «дуга» и «колокольчикъ». И изобрѣтатели этихъ риомъ были настолько скромны, что даже не потребовали производства за то въ геніи и короли, а предпочли окончить жизнь въ безвѣстности и забвеніи...

Риомами румынскими г. Игорь Сѣверянинъ владѣетъ, вѣроятно, мастерски. Предполагаю потому, что очень часто,—вѣрнѣе даже будетъ сказать: постоянно,—поэтъ, затрудняясь подыскать къ русскому слову русскую же риому, смѣло замѣняетъ ее риомою румынскою, и всегда съ полною удачею. Напримѣръ:

Невыразимо грустно, невыразимо больно
 Въ поѣздѣ удаляться, милое потерявъ...

Росно зачѣмъ въ деревьяхъ? Въ небѣ зачѣмъ фіоліно?
Надо ли было въ поѣздъ? Можъ-быть, я не правъ?

Или:

Ей, вѣроятно, двадцать три.
Зыбка въ ея глазахъ фіоль.
Въ лучахъ оранжевой вари
Улыбку искривляетъ боль.

Несомнѣнно, что русскія «боль» и «больно» съ румынскими «фіоль» и «фіольно» риѣмуютъ безподобно. Если же какой-либо суровый критикъ воспротестуетъ противъ самаго принципа русско-румынскаго риѣмованія,—протестовалъ же чудакъ Чацкій противъ «смѣшенія языковъ французскаго съ нижегородскимъ!»—я совѣтую г. Игорю Сѣверянину отвѣтить придиръ:

— Развѣ я первый? Еще 125 лѣтъ назадъ Княжнинъ риѣмовалъ:

Мое,—ахъ!—сердце, какъ сури,
Попавшись вамъ въ любезный кажъ,
Кричитъ: мадамъ, не умори,
Амуръ меня приводитъ въ ражъ...

— Какъ?—церебиваетъ читатель.—Вы хотите увѣрить меня, что г. Игорь Сѣверянинъ даже и тутъ не оригиналенъ?

Увы! Да! И мало того, что этотъ проклятый Княжнинъ (подѣломъ засѣкъ его Шешковскій!) предупредилъ г. Игоря Сѣверянина. Онъ еще имѣлъ наглость вложить куплетъ съ русско-французскими риѣмами въ уста... переряженнаго лакея, который волочитъ за провинціалкою, разыгрывая роль свѣтскаго человѣка!

Приближаясь изъ тьмы вѣковъ къ временамъ болѣе цивилизованнымъ, встрѣчаемъ Мятлева съ «Сенсаціями мадамъ Курдюковой». А въ 1859 году реакціонная газета «Сѣверная Пчела» напечатала на языкѣ, тоже въ родѣ румынскаго, даже цѣлую статейку:

У тръ-томбная сенсація.

Наивна и питезна фізіономія антецедентной генерации. Экспрессія ея пассивно-экспектативныхъ тенденцій—апатія. Магическою энергією журнальныхъ литераторовъ все теперь переформировалось и восфламиро-

валось. Арена интеллектуальной реакціи открыта. Реформа съ принципами абсолютными, прогрессъ къ цивилизации эффективной, гармонія въ теоретическихъ и практическихъ комбинаціяхъ, въ регуляторныхъ и спекулятивныхъ операціяхъ,—вотъ атрибуты эпохи продуктивнѣйшей и съ идеями солидными.

И т. д., и т. д.

Статька эта такъ понравилась В. С. Курочкину, что онъ переложилъ ее въ стихи:

Что за абсурдныя инвенціи
Антецедентной генерации?
И обскурантныя тенденціи,
И утръ-томбныя сенсаціи!
Константинопорейнаго движенія,
Безъ консеквентнаго вниманія,
Традиціонныя говенія...

И, если прибавить сюда Г. Н. Жулева:

Пріятель, не ропши:
Хоть мы съ тобой изьябли,
И лишь пустыя ши
ѣдимъ, какъ Минерабли...

Либо,—еще того притче:

— О, ди фрау, слава, деньги ль—
Все твое, мейнъ енгель:
Будь моей лишь послѣ бала...
«Гуть!»—она сказала.
Восхищенный этимъ «гумомъ»,
Я, въ восторгѣ лютомъ,
Прыгать сталъ во время соло
На аршинъ отъ пола!..

— Но, вѣдь, это же все на-смѣхъ. А, вѣдь, г. Игорь Сѣверянинъ...

Тоже на-смѣхъ, милый читатель. Тоже на-смѣхъ. По крайней мѣрѣ, хотѣлось бы, чтобы было на-смѣхъ. Потому что, въ противномъ случаѣ, было бы ужъ очень жалъ г. Игоря Сѣверянина... Такъ жалъ, какъ давно не было случая жалѣть начинающаго писателя.

Разумѣется, на-смѣхъ! Развѣ можетъ человѣкъ, хоть сколько-нибудь талантливый и способный хоть къ нѣкоторому самосознанію, серьезно писать о себѣ:

Я, гений, Игорь-Сѣверянинъ,
Своей побѣдой упоенъ:
Я повсегрдно оэкранень!
Я повсесердно утверждень!..

И объявлять себя «королемъ», «государемъ», «Наполеономъ», «Дантомъ», «президентнымъ царемъ» какой-то «Марсельези», и пр., и пр.

Я не хочу останавливаться на этой сторонѣ стихотворчества г. Игоря Сѣверянина. Во-первыхъ, ею уже многіе занимались въ печати, говоря автору слова горькія и въ большинствѣ заслуженныя. Во-вторыхъ, выпуская эти свои пошлости, г. Игорь Сѣверянинъ хотя виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія. А заслуживаетъ потому, что опять-таки и тутъ не онъ первый.

Раньше его цѣлымъ рядомъ поэтовъ и прозаиковъ русская публика пріучилась видѣть въ поэтѣ, прежде всего, шута гороховата, на котораго начинаютъ смотрѣть только съ того момента, когда онъ «отмочитъ колѣно», котораго начинаютъ слушать, только тогда онъ, будто въ гонгъ, ударить ни чему не подобною чепухою...

На такомъ конькѣ выѣхали къ «извѣстности» десятки господъ изъ категоріи, которую г. Игорь Сѣверянинъ энергически обзываетъ «обнаглѣвшая бездарь». И выѣздъ этотъ сдѣлался настолько привычнымъ, а публика униженіемъ поэтовъ, обратившихся въ шутовъ, настолько избаловалась, что вотъ когда, наконецъ, появился поэтъ не изъ «бездари», а съ проблескомъ таланта, то и онъ,—увъ!—чтобы быть замѣчательнымъ и «вкусить лавра», долженъ пройти черезъ шутовской стажъ. Покажи, милый человѣкъ, прежде всего, какъ ты кувыркаешься, а тамъ, молъ, посмотримъ... И, такъ какъ г. Игорь Сѣверянинъ—человѣкъ даровитый и изобрѣтательный, то, совершенно естественно, онъ, усердствуя въ показаніи, какъ онъ ловокъ кувыркаться на всѣ лады, да еще сто-

ряча и заигравшись, перенаглѣлъ всю «обнаглѣвшую бездарь», которую онъ самъ же справедливо презираетъ и надъ которой гнѣвно смѣется... Отсюда и всѣ его «поприщинскія» выходки и выкрики Фердинанда VIII, столь снисходительнаго, что онъ даже не требуетъ «знаковъ вѣрноподданничества». Цѣли своей г. Игорь Сѣверянинъ достигъ... Вниманіе на него обращено, и даже очень обращено. Поэтому маска угрождающей вѣку пошлости ему больше не нужна... И обществу хотѣлось бы видѣть, а г. Игорю Сѣверянину пора бы показать: — Что же подъ маскою?

Покуда объ этомъ могутъ быть только догадки, а онѣ разнообразны и двусмысленны. Мы еще не слышали изъ-подъ маски г. Игоря Сѣверянина словъ оригинальныхъ, но знаемъ, что слова заимствованныя онъ выбираетъ хорошо, а произносить умѣетъ красиво: съ чувствомъ, съ темпераментомъ, даже съ огнемъ. Мы съ удовольствіемъ слышали его декламирующимъ изъ Лермонтова, Фофанова, Лохвицкой, Бальмонта. Подобно Несчастливцеву въ «Лѣсѣ», онъ часто «говоритъ и думаетъ, какъ Шиллеръ». Конечно, человѣкъ, говорящій и думающій хотя бы и изъ тетрадки, но какъ Шиллеръ, предпочтительнѣе человѣку, говорящему и думающему хотя и вполне самостоятельно, но, какъ подъячій. Однако, нельзя скрыть плачевной истины, что изъ-подъ маски г. Игоря Сѣверянина раздаются не все шиллеровскіе звуки, а очень часто вдругъ икнетъ или рыгнетъ кто-то, именно въ родѣ пьянаго подъячаго:

Ты набухла ребенкомъ! ты — весенняя почка!
У меня вскорѣ будетъ златокудрая дочка.
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на всѣ осужденія, какъ на подлое свинство!

Вотъ тебѣ и Шиллеръ! Скорѣе, не капитанъ ли Лебядкинъ,— тотъ самый, который въ «Бѣсахъ» приглашалъ:

Ретрогралка иль жоржъ-зандка,
Все равно, теперь ликуй:
Ты съ приданымъ, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

Маски опасны. Онѣ прилипаютъ къ лицамъ, и когда настанетъ время снять ихъ, инымъ бываетъ больно, а у иныхъ онѣ оставляютъ на лицахъ нехорошіи слѣды. «Златолира» въ этомъ смыслѣ — очень плачевный показатель. Въ «Громокипящемъ кубкѣ» прорывы «Шиллера» часты и звонки. «Златолира» — почти сплошное кувырканье на потѣху «ликующихъ», праздно болтающихъ». И, что всего печальнѣе, г. Игорь Сѣверянинъ, среди холодного мѣщанскаго распутства, въ міру котораго онъ поетъ и которое воспѣваетъ, повидному, чувствуетъ себя, какъ дома, и очень хорошо... Компанія, положимъ, большая и теплая... Какъ говорили въ старину, «со звукомъ», а нынѣ это, кажется, замѣнено опредѣленіемъ «прасоловская»... Но зачѣмъ же тогда обижаться, что въ нашей странѣ четверть вѣка «центритъ» (вѣроятно, стоитъ въ центрѣ общественного вниманія) Надсонъ, а г. Игорь Сѣверянинъ чувствуетъ себя «въ сторонѣ»? Можетъ ли быть иначе?

Надсонъ — поэтъ небольшой величины, и это невѣрно, что онъ «центритъ» четверть вѣка. Онъ никогда не былъ ни дирижеромъ, ни первою скрипкою русскаго поэтическаго оркестра, никогда не приобрѣталъ значенія «властителя думъ». Но онъ — поэтъ, котораго общество любило и уважало, любить и уважаетъ, когда-нибудь, можетъ-быть перестанетъ любить, но уважать никогда не перестанетъ... Потому что, какъ ты его ни поверни, весь онъ — «рыцарь духа»... Чистымъ, свѣтлымъ, самоотверженнымъ человѣколюбомъ вошелъ онъ въ міръ, да послужитъ міру, собирая въ свою чашу крови и слезы угрюмаго вѣка. Величіе Надсона создалъ не «талантъ» его, довольно бѣдно вооруженный образами, звуками и силою формы. Нѣтъ. Это необычайная красота свѣтло страдающаго рыцаря духа отразилась въ каждомъ стихотвореніи его, и съ такою яркостью и цѣльностью, что юноша, совсѣмъ не щедро одаренный вдохновеніемъ, сложился не только въ поэта, но въ поэта глубокаго и оригинальнаго. Въ поэта, который умѣлъ говорить обществу «забытыя слова» по-своему, несломханному; въ поэта, который своимъ духовнымъ изяществомъ оправдывалъ и искупалъ нашу мрачную эпоху

и, не будучи и претензіей не имѣя быть великимъ, сыгралъ въ долгой и широкой культурной русской полосѣ великую роль... Надсонъ — чудесное, органическое явленіе новой русской образованности, какъ бы фокусъ, собравшій въ себѣ лучшіе лучи ея внутренней красоты, и этимъ пассивнымъ соединеніемъ — могущественное и незабвенное... Ну... и... можете ли вообразить Надсона говорящимъ любимой женщиной:

— Ты набухла ребенкомъ?

Можете ли вообразить Надсона расписывающимся въ одинаковой симпатіи къ рейхстагу и Бастиліи, къ ястребу и голубкѣ?..

Можете ли вообразить Надсона, для котораго желѣзнодорожное крушеніе — только предлогъ «среди прелестнѣйшихъ долинъ сыграть любви пантоминъ»?

Вотъ то-то и есть, что нѣтъ. А общество-то, — оно, вѣдь, требовательный взяточникъ. Его отношеніе къ поэту всегда построено на *do ut des*. Нѣтъ ничего легче, какъ получить отъ него ту славу, которую правильнѣе назвать пресловутость. Даже при совершенной его избалованности колѣнцами кандидатовъ въ любимцы публики, примѣръ г. Игоря Сѣверянина — достаточно явственное показаніе, какъ мало требуется труда и матеріала для подобныхъ достижений. Но, — увы! — не только «центритъ», но даже просто имѣть какое-либо значеніе въ культурѣ своей эпохи съ такимъ арсеналомъ нельзя. Ибо дѣлу время, а потѣхѣ часть, и въ серьезные моменты своей жизни общество безжалостно къ тѣмъ, кто, покуда длится часть потѣхи, воображалъ, будто это-то и есть самое дѣло... Въ эти времена общество экзаменуетъ своего любимца: обнаружь свой духовный капиталъ, — чѣмъ ты можешь служить мнѣ, если ты сынъ мой, членъ мой? И вотъ у бѣдвяка-то Надсона этого капитала на черные дни общества оказалось достаточно, и впрямь, на четверть вѣка, даже до нашего времени. А богачи изъ его преемниковъ по лирѣ, между которыми были, конечно, многіе значительнѣе Надсона удѣльнымъ вѣсомъ дарованій, поголовно — банкротъ, банкротъ и банкротъ...

Кто-нибудь из ригористовъ, пожалуй, найдетъ, что я говорю по поводу г. Игоря Сѣверянина больше и, къ концѣ-концовъ, серьезнѣе, чѣмъ заслуживаетъ эта пестрая эфемериды поэтическаго дня... Мало ли, молъ, мы ихъ перевидали, сегодня — «опредѣлителей эпохъ», завтра — «трехнедѣльныхъ удалцовъ»... Считать, — цифирь нехватитъ... То-то вотъ и есть, что очень жаль было бы, если бы г. Игорь Сѣверянинъ оказалась такою же непрочною обыденкою, какъ и всѣ «подававшіе надежды» въ послѣреволюціонный періодъ русской поэзіи, который, не обвинуясь, назову бирюлечнымъ... Произведенія знаменитостей, имъ выдвигавшихся, прочитывалъ я въ великомъ множествѣ. И рѣшительно ни одна не затронула меня за живое до потребности вотъ поговорить о ней подробно и «по душамъ»... Ну, возникъ; ну, вытянулъ такую бирюльку, которой до тебя другіе бирюлечники не вытягивали; ну, прославился; ну, а новыхъ бирюлекъ, — тянешь потянешь, вытянуть не можешь; ну, а другой бирюлечникъ тебя перебирюлил; ну, кувыркнулся ты съ полувершковаго пьедестала, и забыли о тебѣ, а тотъ, перебирюлившій, возсіялъ для того, чтобы, три недѣли спустя, въ томъ же порядкѣ, брякнуться въ Лету, гдѣ ты уже барахтаешься... Ну, и туда вамъ обоимъ и дорога, по совѣсти говоря... Г. Игорю Сѣверянину, при всемъ безобразіи маски, въ которой онъ шутуетъ, я именно, по совѣсти говоря, не послалъ бы подобнаго напутствія... Подъ налетомъ скандала, чающаго пресловутости и восторгающагося ею, теплится какая-то искра какъ-будто настоящаго дарованія. Въ душевной и спертой атмосферѣ, въ которой эта искра тлѣетъ сейчасъ, она почадитъ-почадитъ гимнами во славу буржуазнаго распутства и угаснетъ, задуманная испареніями того самаго зажавшагося архимѣшанства, на пошломъ бытѣ котораго сейчасъ сосредоточиваются творческіе восторги поэта. Но если искрѣ удастся вырваться изъ своей кокетельно-кокоточной гасильни, мнѣ кажется, что она очень и очень въ состояніи вспыхнуть радостнымъ пожаромъ, каковаго мы не видали... да, пожалуй, что не видали именно съ года «Горящихъ зданій» К. Д. Бальмонта...

Послѣднимъ стихотвореніемъ въ «Златолірѣ» помѣщенъ сонетъ, посвященный авторомъ какому-то г. Георгію Иванову:

Я помню васъ. Вы нѣжный и простой.
И вы — эстетъ съ презрительнымъ лорнетомъ.
На вашъ сонетъ отвѣтствую сонетомъ,
Струя въ него кларета грезъ отстой...
Я говорю мгновенію: «Постой!»
И приказавъ яснѣй свѣтить планетамъ,
Дружу съ убого-милымъ кабинетомъ:
Я упоенъ страданья красотой...
Я въ солнцѣ угасаю, — я живу
По вечерамъ: брожу я на Неву, —
Тамъ ждетъ грезера дѣвственная дама,
Она — креолка древяго Днѣпра, —
Вѣрна тому, чьего ребенка мама...
И нервничаютъ броско два пера...

Кончивъ читать книжки г. Игоря Сѣверянина, задумался я о немъ и какъ-то невольно думы мои вылились тоже сонетомъ, такъ-сказать, параллельнымъ и съ тѣмъ же расположеніемъ, приблизительно тѣхъ же римомъ:

Читаю васъ: вы нѣжный и простой,
И вы — кривляка пошлый по примѣтамъ.
За вашъ сонетъ хлестну и васъ сонетомъ:
Вѣдь, вы — талантъ, а не балбесъ пустой!
Довольно пѣть кларетный вамъ отстой,
Коверкая родной языкъ при этомъ.
Хотите быть не фатомъ, а поэтомъ?
Очиститесь страданья красотой!
Французя, какъ комми на рандеву,
Вѣнка вамъ не дожидаться на главу:
Жалка притворнаго юродства драма
И взрослымъ быть дѣтвиушкѣ пора...
Какъ жаль, что васъ, дитей, не сѣкла мама
За шалости небрежнаго пера!

Александръ Амфитеатровъ.

* * *

ПЫТКА СЪ ПРИСТРАСТІЕМЪ

Недавно Амфитеатровъ написалъ большую статью объ Игорѣ Сѣверянинѣ.

О молодомъ поэтѣ теперь писать принято, и, казалось бы нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и Амфитеатровъ не отстаетъ отъ общаго правила.

Но дѣло въ томъ, что статья Амфитеатрова, посвященная творчеству Игоря Сѣверянина, рѣзко расходится не только съ общимъ взглядомъ на поэта, но кромѣ того намѣчаетъ стройную платформу, слѣдующую предписаніямъ которой, поэтъ можетъ получить признаніе г. Амфитеатрова.

Я, конечно, не беру подъ свою защиту молодого поэта. Онъ въ этомъ не нуждается нисколько. Я только хочу отмѣтить обычное въ нашихъ критическихъ застѣнкахъ отношеніе ко всему новому, что еще не получило «всеобщаго признанія».

Я называю критику г. Амфитеатрова именно застѣнкомъ, потому что пытается онъ молодого поэта «съ пристрастіемъ», безжалостно, не находя у него ничего, что могло бы «смягчить его вину».

А вся вина Игоря Сѣверянина только въ томъ, что онъ не нравится г. Амфитеатрову. Вина не малая.

Совсѣмъ недавно Мережковскій обрушился на Тютчева за то, что ему были чужды «гражданскіе мотивы». На-дняхъ Минскаго въ литературныхъ застѣнкахъ пытали за то, что онъ обнародовалъ признаніе Надсона, которое въ публикѣ можетъ «вызвать соблазнъ».

Теперь г. Амфитеатровъ выступаетъ со своимъ «сожалѣніемъ» къ Игорю Сѣверянину.

Фельетонъ г. Амфитеатрова въ «Русскомъ Словѣ» такъ и озаглавленъ: «Человѣкъ, котораго жалъ».

Казалось бы, почему и зачѣмъ жалѣть Игоря Сѣверянина? Человѣкъ онъ молодой и талантливый, даже и прославиться уже успѣлъ. Пишетъ онъ о чемъ хочетъ, поэтъ какъ птица, не справляясь ни у кого, можно ли ему или нельзя пѣть и о томъ или иномъ. И не жалѣть его нужно, а радоваться нужно, что вотъ есть человѣкъ, который поетъ, когда другіе хвываютъ.

Но г. Амфитеатровъ принадлежитъ къ числу тѣхъ кри-

тиковъ, которые не любятъ бодрыхъ словъ, и въ каждомъ бодромъ словѣ готовы что-то заподозрить.

Заподозриваетъ Игоря Сѣверянина и г. Амфитеатровъ.

Просто выдаетъ ему свидѣтельство о его неблагонадежности и недоброкачественности его поэзіи.

И какихъ только сравненій не подбираетъ Амфитеатровъ для Игоря Сѣверянина. То съ Княжнинимъ его сравнить, то съ капитаномъ Лебядкинымъ, то съ румынскимъ оркестромъ, то съ румыномъ, который говоритъ на ломаномъ русскомъ языкѣ, то еще съ кѣмъ-то.

А все это потому, что Игоря Сѣверянина нельзя подогнать ни подъ какой ранжиръ, что нельзя отыскать ту болванку, на которой шить его талантъ. Т.-е. просто потому, что Игорь Сѣверянинъ оригиналенъ и талантливъ.

На взглядъ г. Амфитеатрова, талантъ — опасная вещь, потому съ талантомъ критику куда труднѣе орудовать, чѣмъ съ бездарностью. О бездарности и говорить-то нечего, а вотъ объ Игорѣ Сѣверянинѣ г. Амфитеатрову понадобилось написать громадный фельетонъ, да и въ немъ онъ только и смогъ, что высмѣять отдѣльныя мѣста изъ стихотвореній Игоря Сѣверянина, походить вокругъ да около съ ужимочками и насмѣшечками и расписаться въ собственномъ непониманіи задачъ поэзіи. И только... И все же, несмотря на это — фельетонъ г. Амфитеатрова есть явленіе примѣчательное и характерное.

Онъ лишній разъ доказываетъ, что добиться признанія публики не такъ трудно, какъ побѣдить консерватизмъ присяжной критики. Хотя г. Амфитеатровъ и не принадлежитъ къ числу присяжныхъ критиковъ, но выступаетъ и въ этой области съ тою же авторитетностью, съ которой онъ выступаетъ во всѣхъ областяхъ. А потому и съ мнѣніемъ его, какъ критика, приходится поневолѣ считаться.

И вотъ получается въ результатѣ, что самые упорные въ своихъ предрассудкахъ люди, это — критики. Именно о предрассудкахъ только здѣсь и можетъ быть рѣчь. О предрассудкахъ того застѣнка, чрезъ который проходитъ всякій, имѣющій несчастье обладать талантомъ.

Талантъ не уложишь на Прокрустово ложе шаблона. Талантъ не измѣряешь своимъ маленькимъ аршиномъ. За талантомъ безъ крыльевъ не уговяешься. А только то и сдѣлаешь, такъ это подмѣтишь два-три ляпсуса, двѣ-три ошибки...

Свободу слова у насъ слишкомъ узко понимаютъ. Привычка къ цензурѣ въѣлась въ нашу плоть и кровь, и теперь ни одинъ критикъ не можетъ отказаться отъ роли цензора, отъ роли блюстителя идейной нравственности, роли какаго-то соглядатая и чтеца въ сердцахъ. По крайней мѣрѣ, цензоръ виденъ и въ г. Амфитеатровѣ, когда онъ обрушивается на Игоря Сѣверянина за его чисто-юношескую восторженность, за его «пріятіе міра», выраженное въ словахъ:

«Я славлю восторженно Христа и антихриста,
«Голубку и ястреба, рейхстагъ и Бастилю,
«Кокотку и схимника, порывность и сонъ».

Для г. Амфитеатрова это — только Яковъ Хамъ изъ сатиры Добролюбова, потому что г. Амфитеатровъ совершенно лишенъ поэтического чутья, и каждое слово такъ и принимаетъ, какъ таковое, не видя въ немъ образной антитезы.

А съ такимъ отношеніемъ къ поэзии можно поэта подвергать не критику, а только пытку въ застѣнкѣ, что г. Амфитеатровъ и дѣлаетъ съ большимъ искусствомъ.

Книжникъ

«Южный Край»
Харьковъ.
23/V 14. № 12065.

* * *

ХУДОЖНИКИ И КРИТИКА

Игорь Сѣверянинъ, конечно, истинный поэтъ; такой пѣвучести, такой классической простоты и сжатости словъ и стиха давно не было въ нашей поэзии, не было и такой свѣжести, нелитературности. Какъ скажется въ дальнѣйшемъ его очаровательный талантъ — этого онъ самъ не знаетъ, конечно.

Но взгляните: онъ уже опредѣлилъ свое амплу и провозглашаетъ его во всеуслышаніе: я — поэтъ экстаза, каприза, свободы и солнца;

Я съ первобытномъ неразлученъ,
Будь это жизнь ли, смерть ли будь.
Мнѣ ледъ разсудочный докученъ, —
Я солнце, солнце спряталъ въ груди!
Въ моей душѣ такая розсыпь
Сіянья, жизни и тепла.
Что для меня несносна поступь
Бездушныхъ мыслей, какъ зола.

И въ эпиграфѣ къ книгѣ, и въ ея заглавіи, и въ предисловіи Θ . Сологуба — то же опредѣленіе: я — молодость, я — непосредственность, я — солнечный, дерзкій, жизнью пьяный!

Не «дерзость» этихъ заявленій я ставлю въ упрекъ Игорю Сѣверянину; но мнѣ жаль, что онъ такъ ясно сознаетъ себя, мнѣ жаль, что его заявленія такъ разсудочны. Въ этомъ есть что-то старческое, и во всякомъ случаѣ это опасно для поэта и вредно для его читателей. Онъ сразу даетъ свою формулу, — и въ рамкѣ этой формулы его будутъ воспринимать, и самъ онъ неизбежно будетъ склоненъ играть свою формулированную роль, какъ это отчасти дѣлаютъ до сихъ поръ и Бальмонтъ, и Брюсовъ. Зачѣмъ онъ связываетъ себя и объясняетъ себя читателямъ? Это, разумѣется, органично, — вѣдь и Пушкинъ начиналъ, какъ солнечный, однако роли себѣ не приписывалъ и ея не объявлялъ; но, можетъ быть, тутъ есть и вина русской традиции, исконной привычки нашей критики поспѣшно «формулировать» сущность каждаго изъ нашихъ писателей.

Junior

«Русск. Молва».

Пгр.
28-IV-13.

* * *

ОТМѢЧЕННЫЯ ИМЕНА

Въ Игорѣ Сѣверянинѣ страшна не лингвистическая рѣзвость и безвкусіе неологизмовъ, зачастую обнаруживающія

опасную для поэта нечуткость къ духу родного языка,— не это моветонное щегольство творческой юности. Пусть «денѣтъ» и «утрѣтъ» комната, «струнятъ глаза», «окалошваются ноги», «офиалченъ и олиленъ озерзамокъ Мирры Лохвицкой», пусть даже существуютъ эти отвратительные «грезэры» и «грезэрки», «эксцессерки», «сюрпризэрки» и т. п. сокровища сѣверянинскаго жаргона,— съ годами можетъ спасти эта «ветхая чешуя», и творческій темпераментъ, явный намъ въ Игорѣ Сѣверянинѣ, можетъ вынести поэта изъ болота глупыхъ «изысковъ». Страшно на нашъ взглядъ, присутствіе глубокаго прозаизма въ стихахъ поэта. Такія строки, какъ: «изъ-за меня вездѣ содомъ», «опять блаженствовать лафа», «гнила культура, какъ рокфоръ», «мнѣ сердце часто повторяло, что порывается въ аулъ»,— да всѣхъ ихъ не перечить; ими пестрѣютъ даже лучшіе стихи И. Сѣверянина, — такія строки весьма знаменательны для насъ. Прозаизмъ — не внѣшнее свойство, это — болѣзнь, таящаяся въ нѣдрахъ творческаго духа, и, принимая во вниманіе дурной вкусъ стихотворца, мы болѣе чѣмъ сомнѣваемся, чтобы изъ «генія Игоря Сѣверянина» выработался настоящій поэтъ.

«Сѣверныя Записки»,
№ 4 (Апрѣль), 1913 г.
Спб.

Андрей Поляницъ

* * *

ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ УДАЛЕЦЪ

Какъ я не отрещивался отъ этого навожденія, какъ ни прогиралъ глаза, «поэзы» Игоря Сѣверянина неотступно преслѣдуютъ меня.

Весьма равнодушный къ футуризму, не могу пройти мимо этого футуриста. Интересуетъ, какъ никто. Полчища поэтовъ, — я совершенно безучастенъ, а этотъ «двухнедѣльный удалецъ» ворожитъ надо мной, какъ очковая змѣя. Сѣверянинъ заинтриговалъ меня еще тогда, когда такъ упорно лѣзъ на рожонъ, ошарашивая критиковъ вызывающими мачифе-

стами и летучками. Но въкъ мыльныхъ пузырей приучаетъ къ осторожности. Да и не было смысла вмѣшиваться въ скандалъ, затѣянный съ прозаической цѣлью широкаго оповѣщенія.

Сѣверянинъ «дѣлалъ шумъ», покорялъ мелкую прессу, подзуживалъ обывательское любопытство. Въ его «аттракціонкахъ» буйствовала убѣжденная самореклама, «смѣлость, берущая города». И критическій Шаброль дрогнулъ: изумился и поощрили. Не столько отъ пониманія, какъ отъ трусости. «Спящія дѣвы» изъ толстыхъ журналовъ сдѣлали видъ, что глазъ не смыкали въ ожиданіи Сѣверянина. Смѣшно было видѣть, какъ бѣгутъ за колесницей юнаго задора почтенные носители традицій.

Все это было такъ фальшиво, неумно и пошло, что я, при всемъ интересѣ къ новому поэту, съ отвращеніемъ отвернулся отъ его триумфа. И только теперь, когда скандалъ отгремѣлъ и битие стеколъ окончилось, когда Игорь Сѣверянинъ показываетъ не только смѣлость, но и задатки сильнаго дарованія, нахожу возможнымъ удѣлить этому поэту должное вниманіе.

Игорь Сѣверянинъ, дѣйствительно, стоитъ того, чтобы имъ заняться, какъ литературнымъ явленіемъ, и это совершенно внѣ «эго-футуризма», безъ всякаго отношенія къ модѣ и сезону. Футуризмъ оказался химерой, пухомъ, а этотъ «укшуйникъ» все больше разжигаетъ вниманіе. Есть въ Сѣверянинѣ нѣчто властное, притягивающее. Это — обаяніе таланта, молодого, свѣжаго, незауряднаго, та власть, которая беретъ безъ раздумья и боя. Сколько бы ни было плевелъ въ этой поэтической кошницѣ, не оскудѣваетъ къ ней вниманіе. Игорю Сѣверянину противъ воли прощаешь многое.

Читаю эти взбалмошные экстравагантные стихи, и гдѣ моя придирчивость, гдѣ моя желчь и брезгливая гримаса? Рождается даже какое-то сочувствіе къ несомнѣнному озорству и вызову. Старая истина: «побѣдителей не судятъ». А Игорь Сѣверянинъ, въ самомъ дѣлѣ, побѣдитель, и его приходъ весьма знаменателенъ.

Никогда яркій поэтический талантъ не является такъ

кстати, такъ во-время, какъ на этотъ разъ. Уже мирно подѣлили дивидендъ долготѣтнихъ операций символизма, и вдругъ: на «пиръ русской поэзіи» вламывается безродный крикунъ и расталкиваетъ величественныхъ амфитріоновъ.

Игорь Сѣверянинъ продѣлалъ свой дебютъ не только съ апломбомъ, но и съ размахомъ подлинной силы, съ темпераментомъ:

Я, геній Игорь-Сѣверянинъ,
Своей побѣдой упоенъ:
Я повсеградно оэкраненъ,
Я повсесердно утверждёнъ.
Отъ Баязета къ Порты-Артуру
Черту упорную провёлъ.
Я инокорилъ литературу,
Взорлилъ, гремящій, на престолъ.

Это было великолѣпно. На смарку четверть вѣка декадентскихъ ухищреній, на словъ Эйфелеву башню «новаго искусства», курамъ на смѣхъ трудолюбивое донкихотство:—

Я, — годъ назадъ, — сказала: «я буду».
Годъ отсверкала, и вотъ — я есть.

Гордое заявленіе, но близкое къ правдѣ. Литература, дѣйствительно, спасовала передъ натискомъ буйнаго юнца, и въ его самохвальствѣ отчетливо слышится сознаніе превосходства, увѣренность сильнѣйшаго:

Я такъ усталъ отъ льстивой свиты
И отъ мучительныхъ похвалъ...
Мнѣ скученъ королевскій титулъ,
Которымъ Богъ меня вънчалъ.
Вокругъ — талантливые трусы
И обнагдѣвшая бездарь...
И только вы, Валерій Брюсовъ
Какъ нѣкій равный государь.

Кому какъ, а мнѣ это положительно нравится. Какое яркое обличеніе нищаго вѣка! Сѣверянинъ правъ. На фонѣ современности онъ, безспорно, гениаленъ. По мудрой пого-

воркѣ — «на безрыбьи и ракъ рыба». Геній, такъ геній. Нѣтъ царя, да здравствуетъ самозванецъ, пусть только умѣетъ носить корону, да будетъ ростомъ чуточку выше. Въ смутное время самозванцы необходимы. Они дискредитируютъ другъ друга. Почему знать? Признанный «равнымъ государемъ», можетъ быть, завтра будетъ ославленъ, какъ «тушинскій воръ». На каждого «генія» есть теперь острастка въ лицахъ другого «генія», значитъ, чѣмъ больше «геніевъ», тѣмъ лучше. А если, помимо «гениальности», есть и мало-мальскій талантъ, то это ужъ совсѣмъ хорошо. Когда же къ таланту присоединяется еще и смѣлость, передъ нами «завоеватель», Тамерланъ, Наполеонъ. Такъ обстоитъ дѣло съ Игоремъ Сѣверяниномъ. Если въ первомъ сборникѣ «Громокипящемъ Кубкѣ», онъ именовалъ себя растяжимымъ эпитетомъ «генія», то во второмъ сборникѣ, въ «Златолірѣ», онъ уже чувствуетъ себя Наполеономъ. Ни больше, ни меньше:

Я — гениальный корсиканецъ,
Я — возрожденный Бонапартъ.

Съ виду, какъ будто, маньячество, а на дѣлѣ понстинѣ судьба Наполеона, островъ Св. Елены въ океанѣ бездарности, безсилія и трусости. Вѣкъ лиллипутовъ, вѣкъ нищихъ и безродныхъ, какъ мало онъ требуетъ для роли Гулливера! Нѣтъ, у меня не поднимается рука на самохвальство Сѣверянина, на его многочисленные «самогимны» и упоенное хвастовство — это не отъ маньячества, а отъ сознанія «правъ и преимуществъ». Точно такъ же и исключительное вниманіе къ Игорю — самозванцу не отъ заблужденія, а отъ яркаго впечатлѣнія на фонѣ всеобщей тусклости.

Наконецъ-то современность нашла сильное и мѣткое выраженіе, наконецъ-то явился поэтъ съ живымъ ощущеніемъ вѣка. «Эго-футуристъ» — какая мертвая наклейка! И при чемъ тутъ будущее, когда тутъ все современное, сегодняшнее, только что откупоренное, порожденное минутой.

Теперь повсюду дирижабли
Летятъ, пропеллеромъ ворча,

И ассонансы, точно сабли,
 Рубнули риему сгоряча.
 Мы живы острыми и мгновеннымъ, —
 Нашъ избалованный капризъ:
 Быть ледянымъ, но вдохновеннымъ,
 И что ни слово, то сюрпризъ.
 Не терпимъ мы дешевыхъ кошій,
 Ихъ примелькавшихся тоновъ,
 И потрясающихъ утопій
 Мы ждемъ, какъ розовыхъ слоновъ.
 Душа утонченно черствѣть,
 Гнила культура, какъ рокфоръ...

«Поэзы» Игоря Сѣверянина имѣютъ одно вѣское оправданіе — онѣ современны, слишкомъ современны, подъ стать «рокфору», перенасыщены его гнилыми ароматами, въ нихъ все, чѣмъ дышитъ черствая, опустошенная, одичавшая душа вѣка. Шумъ пропеллеровъ, миганіе кинемо и чадъ авто, пряности пар фюмеріи и зашнурованное безстыдство, языкъ плакатовъ и пестрота чувствъ, скрежетъ обостренныхъ инстинктовъ и тупоумное самодовольство нигилизма, комфортабельное расслабленіе и щекотаніе нервовъ экзотикой, вся гниль, весь разладъ, все опустошеніе механической культуры! Въ этихъ стихахъ все своеобразно — и эстетика, и мораль, и логика. Парикмахеръ, орангутангъ и авіаторъ сплелись въ одинъ махровый цвѣтокъ эго-футуризма. Ажурное мастерство стилиа страннымъ образомъ сопряглось съ грубѣйшею чувственностью, и тонкій расчетъ карьеризма переплелся съ безразсудной смѣлостью лунатика.

Психіаторъ нашель бы тутъ всѣ элементы душевнаго распада, всѣ атрибуты истеріи, передъ социологомъ — яркая картина буржуазнаго вырожденія, историкъ литературы увидитъ смѣшеніе стилей и разрывъ съ традиціями, но... поэзія остается поэзіей при всякихъ мнѣніяхъ, при всякомъ содержаніи, при всякомъ выраженіи, разъ она выплеснута со дна души, обнаружена въ порывѣ искренности и непосредственности. Меня совершенно не занимаетъ «подпочва» Игоря Сѣверянина. Мнѣ любопытенъ онъ самъ по себѣ, какъ худо-

жественное впечатлѣніе, какъ носитель свѣжаго и незауряднаго. И тутъ Сѣверянинъ сразу же высоко поднимается надъ современной юдолью тщеты и фальши, тутъ онъ изъ ряда вонъ. Сколько бы въ немъ ни выскивать преднамѣреннаго, бьющаго на эффектъ, рассчитаннаго на скандалъ, остается еще много такого, что вырвалось невзначай, что вдругъ осѣнило, неожиданно вскипѣло, вспыхнуло юношескою наивностью.

Это касается не только вывихнутыхъ «словоновшествъ», не только ошарашивающихъ образовъ, не только галантно-искривленныхъ темъ, но и самага нутра поэзіи Сѣверянина. Все, все нечаянно, по младенчеству, ради шаловливаго каприза. Тютчевскій эпиграфъ удивительно мѣтко характеризуетъ происхождение этой поэзіи:

Ты скажешь: вѣтренная Геба,
 Кормя Зевесова орла,
 Громокопящій кубокъ съ неба,
 Смѣясь, на землю пролила.

И когда это прочувствуешь, сразу мѣняется смыслъ холоднаго наблюденія, совсѣмъ, совсѣмъ другое лицо глядитъ изъ сборника. Вовсе не «сынъ вѣка», не холодный культурникъ, а хрупкій ребенокъ въ бархатной курточкѣ, играющій въ серсо на зеленой лужайкѣ, шалунъ, баловень, вундеркиндъ, озаренный грезами, изгибающійся въ шалостяхъ и кокетствѣ. И вовсе не «футуристъ», не разрушитель, не демонистъ, а безразсудный мечтатель, очарованный фантастъ, сынъ Фофанова, пѣвецъ мая, розовая сентиментальность, то съ экстазными порывами, то съ надломомъ русской тоски. И еще, когда окунешься въ кружева, въ шелкъ, въ нѣжное боа этой утонченной стилистики, этого салоннаго остроумія, этой кокетливой и томной болтовни, этихъ амурно-ажурныхъ ошущеній, смотритъ вамъ въ душу изощренный лирикъ, отзвукъ Альфреда Мюссе, изгибъ Оскара Уайльда,—

За струнной изгородью лиры
 Живетъ невѣдомый паучъ,

тотъ вѣчный паяцъ, котораго зовутъ поэтомъ, который творить мечту и улыбки, воздвигаетъ фантомы, покоряетъ салоны, въ кокоткѣ вдругъ найдетъ Офелію и автомобиль превращаетъ въ Пегаса.

Паясничество Игоря Сѣверянина вдохновенно, и онъ цѣлень и строенъ въ своей изломанности и разноголосицѣ, и «за струнной изгородью» художникъ, виртуозъ, чуткій, изнѣженный музыкантъ.

Въ шумномъ платьѣ муаровомъ, въ шумномъ платьѣ муаровомъ
По аллеѣ олуненной вы проходите морево...
Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная отъ листвы разузорена —
Точно лапы паучья, точно мѣхъ ягуаровый.

Какъ будто есть надъ чѣмъ посмѣяться, но и сквозь смѣхъ будетъ слышенъ музыкальный ритмъ.

У Игоря Сѣверянина въ двухъ сборникахъ очень много такихъ стиховъ, слишкомъ изысканныхъ, слишкомъ экзотическихкихъ, но ихъ выѣшняя вычурность овѣяна внутренней простотой, я бы сказалъ, простодушіемъ. Нашъ «денди» не лукавъ: только и того, что Иванушка причесался по-англійски. Можетъ быть, весь смыслъ его напомаженныхъ мадригаловъ укладывается въ эти двѣ напвныя строчки:

Олазорь забывудками глазокъ
Обвищавшую душу мою.

Сѣверянинъ въ качествѣ пѣвца любви истекаетъ въ сентиментахъ и превыспреннемъ идеализмѣ. И хотѣлъ бы быть развратнымъ и циничнымъ, но, едва глянулъ на женщину — самая заурядная кокоточка Нелли, Зизи, Лиль, мигомъ превращаются у него въ принцессъ и «грезэрокъ». Очень храбрый въ литературныхъ завоеваніяхъ, онъ пасуетъ въ атмосферѣ нѣжныхъ чувствъ и робкимъ пажемъ заплетается въ дамскиххъ шлейфахъ.

Есть въ Сѣверянинѣ что-то женственное; безильный въ страстяхъ, онъ очень выразителенъ въ будуарныхъ аксессуарахъ, болѣзненно чутокъ къ красивой обстановкѣ любви.

Цвѣты, духи, фрукты, шампанское, ликеръ, изящный лимузинъ, сиреневый конвертъ, въ этомъ онъ расточителенъ больше всего. Въ чувствахъ же Сѣверянинъ вялъ, скромнень, холодноватъ, истомленно-покорнень, не идетъ дальше вздоховъ, лицейскаго сюсюканья, пошловатыхъ восторговъ передъ пальчиками и локончиками. И напрасно онъ шепелявить свои «хабанеры», страсть не его стихія. Сѣверянинъ выразителенъ и пѣвучъ въ безпредметныхъ мечтаніяхъ, въ царствѣ лунныхъ призраковъ и миражей. Онъ долженъ выдумать себѣ героиню, сочинить или увидѣть во снѣ (Балькисъ, принцесса Мимоза, Инесъ).

Пристально вглядываясь въ Игоря Сѣверянина, я не только перестаю вѣрить въ его футуризмъ, но даже и въ его современность. Его «поэзы» современны по обстановкѣ, по словарю, по психологическому складу. И только. Содержаніе же этого новаторства то, что слыветъ въ грамматикѣ подъ именемъ «давнепрошедшаго». У этого новаго поэта достаточно ветхія настроенія. Въ основѣ его поэзіи идиллія. Сѣверянинъ не зажжетъ солнца, какъ общаетъ, и не встревожитъ міръ трубой архангела.

Раскрашивать цвѣточки, рисовать губки бантикомъ, играть на окаринѣ, писать мадригалы нездѣшнимъ принцессамъ, вотъ его поэтическій кругъ. Модернизованная Аркадія съ весьма ограниченными горизонтами: гостиная, пляжъ, финская дача, робкія пожатія въ лимузинѣ, «мой — рой», «грезы — слезы», «мечты — цвѣты», скромное наслѣдство Фофанова и — Мирры Лохвицкой, перекроенное по фасону «заумностей» и «словоновществъ».

И пока нѣтъ въ немъ умысла, пока пѣнятся эти идиллическія пѣсенки молодостью и живой любовью къ міру, до тѣхъ поръ такая поэзія можетъ привлекать и очаровывать. Но посягать на вѣчность съ подобной «дачной мебелью» рискованно.

Соразмѣряйте силы, господа поэты.

А. Б.

«Голосъ Москвы»
17/IV 14. № 88.

О ЯЗЫКЪ ИГОРЯ СЪВЕРЯНИНА

Игорь Васильевич Шеншинъ-Лотаревъ, самъ себя называющій Игоремъ Свѣряниномъ, поэтъ несомнѣнно заслуживающій возбужденное имъ вниманіе, хотя величая себя «гениемъ» (Эго-футуризмъ, Прологъ), историкомъ въ поэзіи (Поэза о Карамзинѣ) и т. д., онъ отчасти преувеличиваетъ, отчасти шутить. У меня интересъ къ нему выразился уже нѣсколькими эпиграммами и газетными замѣтками. Въ настоящей статьѣ я, по приглашенію Редактора предлагающаго сборника, желаю рассмотреть по возможности обстоятельно, хотя и вкратцѣ, языкъ нашего «поэтика».

Мнѣ предлежатъ, какъ полное собраніе сочиненій, четыре Игоревскихъ сборника: «Громокипящій кубокъ», Изд. седьмое. Москва 1915; «Златолира». Изданіе четвертое. Москва 1915; «Ананасы въ шампанскомъ». Изданіе второе. Москва 1915 и «Victoria Regia». Изданіе второе. Москва 1915. Всѣ содержащія здѣсь «поэзы» я внимательно перечелъ и вновь прочиталъ и сдѣлалъ изъ нихъ подробныя, систематичныя выписки; но читателю, конечно, поднесу матерьялъ свой не цѣликомъ.

Имѣющіяся у меня новыя изданія, поскольку мнѣ удалось сличить ихъ съ первыми, не представляютъ никакихъ существенныхъ измѣненій; да они и не называются ни исправленными, ни дополненными, ни сокращенными.

Языкъ Игоря бываетъ весьма своеобразнымъ — настолько, что Амфитеатровъ о нѣкоторыхъ вещахъ его отказался су-

дить «по незнакомству съ языкомъ, на которомъ онѣ написаны» *). Иныя стихотворенія въ самомъ дѣлѣ кишатъ своеобразностями, какъ, напримѣръ, «Обреченный» въ «Златолирѣ». Съ другой стороны есть однако, какъ отмѣтилъ уже и Амфитеатровъ, также стихотворенія, писанныя обыкновеннымъ языкомъ. Таковы, напр., «Въ очарованьи», «Стансы: Простишь ли ты», «Въ паркѣ» (Громокипящій кубокъ), «Моя дача» (Златолира), «Она критикуеть», «Nocturne:» Мѣсяць гладить камыши (Ананасы), «Такъ ужъ сказалось» (Victoria Regia).

Оригинальности допускаются сознательно, намѣренно — самъ авторъ, въ «Корректномъ письмѣ» (V. R.), говоритъ:

Я развѣ не могъ бы писать примитивно,
Безъ новыхъ метафоръ и словъ?
Я такъ и пишу иногда.

А въ другомъ мѣстѣ — «Боа изъ хризантемъ» (Гр. к.) — онъ восклицаетъ:

О, въ поэзахъ изысканныхъ я строжайшій редакторъ!

Несовсѣмъ только ясно, какую грань стихотворецъ проводитъ между поэтами изысканными и небрежными. Иногда, правда, онъ несомнѣнно шутитъ; таковы: «Мороженое изъ сирени» и «Фиолетовый трансъ» (Гр. к.), «Увертюра» и «Пятицвѣтъ II» (Ан.). Но порой и въ серьезныхъ вещахъ вдругъ появляются странности, похожія на дурачество. Такъ, едва ли можно сомнѣваться, что стихотвореніе «Въ кленахъ раскидистыхъ» (Гр. к.) изображаетъ искреннее, нѣжное чувство,

*) Александръ Амфитеатровъ. Человѣкъ, котораго жаль. Русское Слово, 15 мая 1914 года. — Довольно длинное, но также не достаточно глубокое (мѣстами педантски-придирчивое) рассмотрѣніе Игорева языка находимъ у Андрея Шемшуринъ: Футуризмъ въ стихахъ В. Брюсова. Москва 1913, гдѣ страницы 187 — 240 представляютъ Приложение 3. «Громокипящій Кубокъ И. Свѣрянина и русскій языкъ»: Шемшуринъ утверждаетъ (стр. 215), что нашъ поэтъ «плохо разбирается въ русскомъ языкѣ», при чемъ «ошибки... таковы, что по языку онъ долженъ быть иностранцемъ» (стр. 192).

однако въ немъ подпущены выражешя: «разузоримъ уютъ», «въ кленахъ... есть водопадъ вдохновенья», «лирное сердце», «весна бравуритъ зеленые вальсы». Также въ «Издѣвательствѣ» (Ан.), хотя оно и кончается ироничнымъ восклицомъ:

Царица Жизнь воспитана, какъ хамка!

описание ночи и успѣха вдохновеннаго поэта, конечно, задуманы въ серьёзъ, хотя выражены крайне чудно. И въ обильномъ странностями «Поэзоконцертѣ» (Гр. к.), полагаю, никакъ не въ шутку брошенъ заключительный вызовъ:

Проклинайте, люди трезвые! Громче, злѣй, вороны, каркайте!
Я, какъ ректоръ Академіи, пью за озерзакъ тостъ!

Не буду впрочемъ говорить очень рѣшительно насчетъ намѣреній автора: въ «Хабанерѣ III» (Гр. к.) для меня стихи: «О, бездна тайны! о, тайна бездны! Забвенья глуби... гамакъ волны!.. Какъ мы подземны! какъ мы надзвѣдны! Какъ мы бездонны! какъ мы полны!» звучатъ лирично, и даже недурно, между тѣмъ самъ поэтъ намъ говоритъ, въ «Сувенирѣ критикѣ» (V. R.):

Какая глупая въ Россіи критика!
Зло насмѣялася надъ «Хабанерою»...
Въ сатирѣ жалящей искала лирики.

Своеобразность игоревскаго языка состоитъ большей частью въ томъ, что еще сильнѣе развито у болѣе крайнихъ футуристовъ и прямо написано на ихъ знамени, какъ «словоновшество».

Новотворки у Сѣверянина являются особенно часто въ слѣдующихъ видахъ: 1) предложныя глаголы на -ить, типа «озадачить», 2) глаголы ятевые, типа «краснѣть», 3) предложныя и сложные прилагательныя, типа «безводный» и «вѣроломный», 4) предметницы на -ье, типа «распутье», «краснорѣчье», 5) предметницы женскаго рода на -ь, типа «гладь»,

и 6) сложныя слова изъ двухъ предметницъ, типа «небосводъ».

Считаю нужнымъ здѣсь же оговорить, что я отнюдь не врагъ новшествъ въ языкѣ: особенно въ грамматикѣ я пытаюсь замѣнить цѣлый рядъ мудреныхъ и длинныхъ словъ болѣе простыми и складными, говоря, напримѣръ, какъ въ предыдущихъ строкахъ, вмѣсто «существительное» — предметница, вм. «прилагательное» — прикладокъ, вм. «новообразование» — новотворка.

Больше всего Игорь любитъ глаголы на «ить» съ предложомъ «о»: мои пути освѣтозары! (Алтайскій гимнъ); Вамъ сердце орудесила проказница-весна (Пѣсенка-весенка); олазоръ незабудками глазокъ обнищавшую душу мою! (Внѣ); офіалаченъ и оилиенъ озерзакъ Мирры Лохвицкой (Поэзоконцертъ); удастся ль душу дамы восторженно омолодить? (Каретка куртизанки; также: въ омоложенномъ дымѣ — Качалка грезерки); онъ злится, хочетъ мести, мгновенно себя очортивъ (Блаженный Гриша); огимнивъ душисто-веселый свой трудъ (Промелькъ: «Янтарно-гитарныя пчелы»); очаренъ Балтикою дѣвной (Поэза дѣтства моего и отрочества: говоря «очарованъ», мы почти уже не думаемъ о чарахъ, о колдовствѣ); Бѣбѣ печально, но улыбитъ свое лицо (Поэза дѣтства моего и отрочества, 5); я вновь желаю вась оперлитъ, рѣка и дѣва (Тж., 6, срвн. захочу—оперлю его, Майская пѣсенка); омаотвить весь лоскъ германца (Поэза о гуннахъ); я осоловьилъ Парнасъ (Поэза для Брюсова) и т. д.

Иногда эти глаголы принимаютъ форму возвратную, какъ: онъ готовъ осупружиться (Нелли); оцарься, рабы! (Поэза спичечнаго коробка).

Игоревы новотворныя глаголы сразу понятны и весьма выразительны; притомъ это живой типъ, новотворки по коему—правда, изрѣдка—встрѣчаются помимо декадентства. Жуковскій заставляетъ говорить мышиняго царевича, что ихъ «край надолго былъ обезязыченъ»; Тютчевъ (Къ Ганкѣ) сказалъ: тѣхъ обезязычилъ нѣмецъ; недавно въ официальномъ объявленіи говорилось о мызѣ, «остолбленной» распоряже-

ніемъ Военнаго Вѣдомства; самъ я въ своихъ язычныхъ работахъ употребляю глаголь «опримѣрить» слово или форму—снабдить примѣрами изъ письменности *).

На возраженія вызываютъ у Игоря только нѣкоторыя частности. Таковъ глаголь «оэкринить»: «я повсеградно оэкринень» (Эго-футуризмъ, Эпилогъ). Надо бы, прежде всего, «об-»: грамматика велитъ намъ употреблять предлогъ этотъ передъ гласными въ болѣе полномъ видѣ («о») дѣйствительно развилось изъ «об» передъ согласными, хотя потомъ въ большинствѣ славянскихъ языковъ рѣшительно возобладало), а наша народная рѣчь и вообще предпочитаетъ «об»; кромѣ того, здѣсь естественнѣе было бы взять другой предлогъ: «на». Тотъ же предлогъ я предложилъ бы подставить въ выраженіи «меня отравить Марсельезія» (Самогимнъ). А въ выраженіи «въ твоёмъ огрязненномъ снѣгу» (Поэза дѣт. м. и отроч., 5) умѣстнѣе былъ бы предлогъ «за».

Рѣже встрѣчаются ижевые глаголы съ другими приставками: взорлилъ, т.-е. взлетѣлъ орломъ (Эгофут., Эпил.); пристѣлила въ седьмомъ ряду (Замужница); она брала перо,... безсмертя мглы дурманящій миражъ (На строчку болѣе, чѣмъ сонеть); разузлена система жилъ (Памяти К. М. Фофанова); я забурлила—съ шумомъ поплыла — на мысъ (День на фермѣ); дорожка... отъ листвы разузорена (Кэнзели).

Попадаютъ также новые ижевые глаголы безпредложные: лѣсъ драприть стволы въ туманную туннику (Версеусе осенній); вальсы... бравурить весна (Въ кленахъ раскидистыхъ); цѣпять звенья пахитость, т.-е., курия, пускаютъ дымовыя кольца (Поэзоконцертъ); четверть вѣка центритъ Надсонъ (Поэма вѣѣ абонемента); солнце лавитъ съ неба (Прогулка короля).

*) Насчетъ того, что вещи отвергаемыя ревнителями школьной грамматики и обиходной рѣчи появляются у образцовыхъ писателей можно справиться у Чернышева. В. Чернышевъ. Правильность и чистота русской рѣчи. Опытъ русской стилистической грамматики. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Петербургъ-Петроградъ, 1914—15.

Два-три раза встрѣчаются глаголы сложные—производные съ сложныхъ именъ: сѣнокося твой спѣлый іюль (Эксессерка). По образцу своего «сѣнокосить» Игорь создалъ еще и «людокосить»: въ нихъ людокосящія войны невѣроятны, какъ потопись («Благословенны ваши дома»).

Отмѣтимъ еще нѣкоторые ижевые глаголы возвратной формы: зальдись водопадное сердце! (Мороженое изъ сирени); воробы на дорогѣ шустрятся (Въ ресторанѣ); лошади распылились въ пляскѣ (Маріонетка проказъ).

Значительно также количество глаголовъ ятевыхъ, какъ: вечерѣетъ холодно (На рѣкѣ форелевой); уже ночѣло (Когда ночѣло); костерь вѣтрѣетъ (Эпитамама); лѣсъ завѣтрѣлъ (Когда ночѣло); пока листвѣютъ клены (Неводъ грезъ); отчего же я огневѣю? (На островахъ); грозовѣетъ облако (Лиробасня); вотъ пробезшѣмѣла мышь (Эскизетка); очи синія, синѣйте завтра, какъ вчера! (Еще не значитъ).—Странны «морѣтъ» и «заморѣтъ», указывающія, по связи, на то, что люди очутились у моря и подъ его вліяніемъ: морѣетъ: шинамъ хрустче (Въ коляскѣ Эсклармонды); заморѣло!—глиняныя глыбки я бросаю въ море, хохоча (Прогулка короля).

Своеобразенъ, но ясенъ и кстати, необычный глаголь съ примѣтою «а» («я»): столпляются дѣвушки (Балтійскія кэнзели). Несовѣтъ ясенъ, однако, другой: я выгромляю въ небѣ громы («Благословенны ваши дома»); а третій, самъ по себѣ вполне прозрачный, стоитъ въ безтолковой фразѣ: я — купальщица—потопляла солнце (День на фермѣ).

Понятны и выразительны также новотворные прикладки: предложные—особенно часто съ предлогомъ «безъ», въ нѣкоторомъ злоупотребленіи которымъ винится самъ авторъ, словами: «будь проклята приставка безъ!» (Замужница),—сложные и простые. Примѣры: преданье въ безлистную книгу временъ навѣкъ занесло свои строки (Баллада; ср. — само по себѣ непонятное — выраженіе «въ безлистномъ шестѣ страницъ», Октябрь); надъ безтиннымъ прудомъ (Качалка грезерки); безстранный король (Памяти Маціевича); предснѣжный мѣсяць (Октябрь); безпопья свадьба (Пляска мая); море

безвѣльное (Экстаза; также: море безвѣльно, Поэза майскихъ дней); лѣннострунный Нилъ (Балькись и Валтасаръ 3); золотогрѣзный виноградъ (Тринадцатая); стальносерднне братья мои (Внѣ); успокоивъ его—ребенка—благодатнаго (Отчаяніе); такъ мы встрѣтились, разнотропные (Кладбищ. поэзы, II); бѣлоконные гусары («Провижу день»); въ росисто-щѣбетномъ саду (Дачный кофе)*. Какъ примѣры простыхъ прикладковъ на -ный отмѣтимъ: (шуточное) боа изъ маркизныхъ головокъ (Боа изъ хризантѣмъ); на софномъ бархатѣ (Поэзоконцертъ); вы такая эстетная (Кэнзели); арфное (имя) Балькись (Саронская фантазія); съ протестнымъ бичомъ (Внѣ); какъ гетера усладнаго Рима (Соната); ты идешь, улыбка и легка (Въ госпиталѣ; также: я милый, бѣлый, улыбка ландышъ, Prelude 1).

Нѣсколько смущаютъ меня: лиліекардннй герцогъ (видно, чистый душою — Дель-Аква-Торъ); блузка лиліебатнстовая («Еще вы дѣвушка»); шалѣ березозебреное—бесѣдка изъ березы, напоминающей корою бѣлую, чернополосую зебру (Въ шалѣ березовомъ; правда, это вещь шуточная). Непонятенъ мнѣ злофейный крепъ (Vigelai). «Снѣгоскалый» было бы недурно, если бы такъ опредѣлялся Казбекъ или Эльборусъ, но снѣгоскалый гипнозъ (Эго-фут., Эпил.) повергаетъ меня въ недоумѣніе.

Отмѣчу кстати своеобразное употребленіе связанныхъ съ прикладками нарѣчій, хотя своеобразность здѣсь по большей части относится не къ формѣ словъ, а къ обороту рѣчи: было повсюду майно (День на фермѣ); задрапированн(ая) мишурно (Письмо изъ усадьбы); солнце улыбка уходитъ домой (Земля и Солнце); вы одѣлись вечеромъ кисейно (Когда придетъ корабль; таково же: васъ одѣтъ фіолетово, фіолетово-бархатно, Боа изъ хризантѣмъ; отдавалась грозово («Это было у моря»); цилиндры... причесанные лоско (Каретка куртизанки); удало въ ладоши захопайте! (Фантазія восхода); распустивъ павлинье-

* Укажу еще, что Игорь довольно рѣшительно предпочитаетъ у такихъ прикладковъ наставку -ный безнаставности, т. е. типъ «черезполосный» типу «безголосый».

во свой вѣрѣ (Когда придетъ корабль); лютятся взоры ласково и грезно (Прогулка короля); порой бранятъ меня площадно (Эго-фут., Прол., IV); какъ журчно... рѣку льетъ (Рондели о ронделяхъ); всероссно—т. е. по всей Россіи—твердятъ (Крымская трагикомедія); я исто смѣлъ, я исто прямъ (Поэза для Брюсова); со сномъ чаруйнымъ впламя—очевидно, пламенно, горячо—заспору (Вервэна).

Многочисленны, далѣе, слова средняго рода на -ье, тоже несомнѣнно ростоспособная категорія: въ нѣмомъ безлучьи (Въ грѣхѣ-забвеніе); (Мадлена... хмурить) чернобровье (Въ березовомъ котѣджѣ); въ нѣмомъ безгрѣзѣ (Элементарная соната; также: царь погружается въ безгрѣзье—т. е., должно-быть, въ сонъ безъ видѣній: Балькись и Валтасаръ, 3; ища въ немъ чернаго безгрѣзья: Героиза—пишу ё, т. к. созвучіями у Игоря служатъ «позѣ» и «гроздія»); на отложѣ берега (Нарѣкѣ форелевой); снѣга, снѣга—какъ бѣломорье (Алтайскій гимнъ); пушисто-снѣжное узорье (Тж.); всегда предгрозье душно (Секстина: «Я заклеюмень, какъ нѣкогда Боллэръ»); сколько пустоты и безнадѣжя (Морская памятка); равнокровье и злой мезальянсъ (Электрассонансъ); будетъ въ вечерахъ угрозье (Осени предчувствіе; также: въ глазахъ угрозье горлоспазмъ, Загорной); онъ златолѣтье съ вами жилъ—златолѣтье, д.-б., срокъ золотой свадьбы, 50 лѣтъ (Памяти К. М. Фофанова). Своеобразны, какъ простыя, слова: «цвѣточье»: брожу я часто по цвѣточью (Въ Миррэлій) и «горбовье»: по холмистому горбовью трупъ мой въ озеро спусти! (По восемь строкъ, III), и, какъ отглагольныя: къ пробитью закатнаго часа (Ивѣсь) и «въ отстраданьи» (Замужница). Нѣсколько искусственнымъ кажется, допущенное разъ—другой, ради стиха, двусложное окончанье -іе: въ апрѣліе—апрѣльской порой (Въ Миррэлій); молніи, какъ огнестрѣліе (Тж.); ни поцѣлуя, ни обручія—т. е. объятія (Кладбищ. поэзы, II); въ ряды Краснокрестія ступайте безъ словъ! (Всѣ впередь!).

Любитъ Игорь еще одну, несомнѣнно живучую категорію,—односложныя слова женскаго рода на «ь». Таковы: (онъ) вернетъ меня къ моей безцѣльной яви (Verceuse осенній; это

слово, впрочемъ, не совсѣмъ новое *); надъ ручейками хрусталитъ хрупъ (Фіалка; также: ты—сплошная хрупъ, Кузина Лида); врожденная сонь (Предостерегательная поэза); и сонь, и лунь, и вошь (Грасильда, 3); (звуки) навѣвали смуть былого (Nocturno); бѣжали двое въ тлѣнь болотъ (Эго-ф., Эп.); юнью дерзкій (Гризель); бирюзовая теплая влажь (Гашишь Нефтисъ); шансонетка съ гвусью минь (Въ кустахъ жасмина); чарующая чудь (Вечеромъ жасминовымъ **); влекуся въ моревую сквозь (Вервѣна); новь—въ смыслѣ не новопадной земли, а новыхъ предметовъ или ощущений: какія нови въ чарахъ мая, какая въ новяхъ благодать! и сколько новей въ чарахъ мая! («Я живь, и жить хочу»). Какъ такія краткія и складныя слова Шемшуринъ, говорящій о словѣ «синь», коимъ пользуются и другіе, въ томъ числѣ мой двойникъ, Орестъ Головининъ: «вѣчно синью яркою одѣтъ, небесный сводъ и стужѣ чуждъ, и зною». Освобожд. Ерус., XV, 54, могъ назвать «неуклюжими»—миѣ непостижимо.

Рискованнѣе, не имѣющія прямыхъ образцовъ (ср. впрочемъ «лазурь», «эмаль», «благодать»), слова двусложныя и, кажется, единственное, трехсложное. Разумѣю стихи: «приди, любуйся моей фіолью» и «моей фіолью святы мечты» (Фіалка); лютяся взоры,... то лазорь, то пламя, то фіоль (Прогулка короля); фимьямная лиловъ (сирени—Интермеццо); въ улыбкахъ весени (весенней нѣги—Балтика, 3); ты вся—улыбь (Кузина Лида); обнаглѣвшая бездѣрь (Прощальная поэза); не все ли миѣ равно—я геній, иль заурядная бездѣрь, когда я.. весь сплошная свѣтозѣрь (Монументальные пустыки, 1). У составныхъ словъ этой группы можно усмотрѣть неправильность въ ихъ наконецномъ удареніи, тогда какъ удареніе здѣсь тяготѣеть къ начальному слогу: заводь, удалъ, прибыль, рѣзсыпъ, бѣзтоlochъ, даже иконопись (хотя слышится также ико-

*) Относительно новости словъ легко ошибиться, ибо точно установить ее можно бы лишь обширнымъ, копотливымъ обслѣдованіемъ.

***) Не знаю, слѣдуетъ ли тутъ смущаться, и миѣ не сразу вспомнившимся, стариннымъ значеніемъ слова Чудь—финны.

нопись); впрочемъ въ пользу Игоря можно сослаться на исключенія: погйбель, и особенно постѣль, напѣсть, благодать.

Вотъ еще примѣры на нѣсколько своеобразныхъ и хорошихъ производницъ, не подходящихъ подъ обычныя Игоревскія категоріи. Зизи, Зизи! тебѣ себя не жаль? Не жаль себя, бутончатой и кроткой? (Зизи); чарунья грѣзь («Благословенны ваши домы»; такъ же: пою чаруній—стрекозь, Ргѣ-ludel); ты—безсмертница! ты—всемирница! (Кокетта); безжалостница, ближница и далѣчница—въ послѣднемъ словѣ пишу ё, т. е. созвучье къ нему «хочется» (Никчемная); извѣстница—извѣстная, знаменитая (Провѣтъ Амазоніи); «Замужница»—заглавіе; иконница—моленная (Симфонія); мечтатели—вѣчно бездомники (Фантазія восхода); предугренникъ—предразсвѣтныи вѣтерокъ (Алтайскій гимнъ); я—солнечникъ, и люю съ эстрады на публику лучи поэзь (Замужница); для святотатца («Вернуть любовь»)—я позволилъ себѣ въ Освобожденномъ Ерусалимѣ подобное же образование: на созаклятцахъ будетъ знакъ креста (пѣснь XIX, октава 87); онъ пѣлъ застольцамъ «Алаверды» (Въ духанѣ надъ Курой); миѣ улыбалась Красота, какъ фавориту-аполлонцу (Героиза; также: душой поэта и аполлонца, Лѣсофея); воспѣвца монументъ-фонтана (Бахчис. фронт.); мы съ вами оба гениальцы (Поэза для Брюсова); любовь владыки своей мечты, безвѣстца своего (Колье рондо, 8); пчела, летучая жужжалка (Зақлинаніе); Метѣлка-самомѣлка (въ заглавѣ и во всѣхъ строфахъ); все въ кучу: слонъ и крошка—кроличекъ (Тж.); безсонокъ!—человѣкъ безсонный, не могущій заснуть, въ данномъ случаѣ дѣвушка (Колье рондо, 7); мой литературный выдвигъ (Поэза дѣт. м. и отр., 5); и въ этихъ отгулахъ рванулись двери (Поэза трехъ принцессъ); призрачный прѣмелькъ экспреса (Въ пяти верстахъ по полотну). Послѣднимъ словомъ, дѣйствительно прекраснымъ, поэтъ самъ, видно, очень доволенъ, такъ, что употребилъ его еще 3 раза, какъ заглавіе: разъ въ Златолирѣ и дважды—въ Ананасахъ.—Меньше миѣ нравится Славянія (Всѣ вперед!)—у пѣвца панславизма, Коллара, лучше: Славія (Slávic). Очень мило звучитъ «весенка»: «Пѣсен-

ка-весенка»—заглавіе, хотя производство его отъ слова «весна» или отъ «весенній» нѣсколько произвольно. Сомнительно мнѣ достоинство слова «вселенець» — космополитъ: кто мыслитъ глубже, тотъ вселенець («Мою страну зовутъ Россіей»), вселенець, заключенный въ смокингъ дэнди (Оскаръ Уайльдъ); я образовалъ бы «вселенщикъ», отъ вселенскій, или «всеміръникъ»—Игорева форма примыкаетъ скорѣе къ глаголу «вселиться», чѣмъ къ предметницѣ «вселенная», ср. поселенець, переселенець. Сомнительнаго достоинства также «преступка» вм. преступница (Тарновская). «Нѣтъ ни лампы, ни надлампника,—все сгорѣло... Недосмотръ неопытнаго рамника?» (У Е. К. Мравинѣй) д. б.—неумѣстная! —шутка.

Иногда, напротивъ того, новыя слова настолько удачны, что даже не замѣчаешь ихъ новости. Таковы: она тоскуетъ... о незабудкахъ, о росной сѣни (Лѣсофея); игольчатая роши (Письмо изъ усадьбы); вѣтровыя сани (Январь); трехкомнатная дача (Янтарная элегія); я завтра напишу угрюмцу твоему (Примитивный романсъ*); грѣзь неистечные ключи (Демонъ); пряною душистостью травы (Синій сонеть); горда, сверкательна, строга (Одна изъ двухъ); глядь, мельня-мукомолка (Метѣлка-самомѣлка).

Характерно для Игоря также обиліе сложныхъ словъ, изъ коихъ многія звучатъ слишкомъ на нѣмецкій ладъ, примыкая къ рѣдкимъ и дурнымъ образцамъ, какъ «небосводъ» и «кораблекрушеніе», т.-е. представляя приклепку предметницы или прикладка къ неизмѣнной—не укороченной, ни распространенной—предметницѣ. Таковы: солнцесвѣтъ—нѣмецкое Sonnenlicht (Крымская трагикомедія); бракоцѣпъ—Ehekette (Въ березовомъ котѣдѣ); порвавъ злоцѣпъ съ печалью и нуждой (Памяти А. М. Жемчужникова); демимонденка и лѣсофея—Waldfee («Лѣсофея»); «пьеро»-костюмы и стихотомы (Поэза истребленія); у окна альпорозы въ корзинѣ (Экспессерка); у лѣсоозера (Въ шалѣ березовомъ); Златолира—заглавіе сбор-

*) Насчетъ значенія слова «примитивный» ср. въ началѣ этой статьи, цитату изъ «Корректнаго письма».

ника (также: о, Златолира, воспламенѣй! Эпиталама, и еще: бряцай пророчно, Златолира! «Благословенны ваши дома!»); златополдень и женоклубъ (Клубъ дамъ); лисопрофиль (Лисодѣва); я трагедію жизни претворю въ грѣзофарсъ (Ананасы, Увертюра); подъ ало-желтый лѣсофонъ (Регина); «Лиробасня» (заглавіе); оркестро-мелодія (На премьерѣ); звукоткань, электроботъ и въ луноснѣ (Издѣвательство); «Ядоцѣпты» (заглавіе); горлоспазма (Загорной); слышишь ли его призыво-крики надъ рѣкой? (Колье рондо, 4); всюду краснота, гдѣ лунопаль была—палевота, блѣдность (Тж., 9); Вы, чьи стихи, какъ бронзолы (Поэза для Брюсова); лиловѣютъ разнотонами станы стройныхъ поэтессъ (Поэзоконцертъ); гостиной сребротоны (Поэза о тысяча первомъ знакомствѣ); надъ Бѣлолиліей застала юнаго (Въ шалѣ березовомъ); съ бѣлорозой въ блондныхъ волосахъ (Въ госпиталѣ); мнѣ стало скучно въ иностранныхъ (Крымская трагикомедія).

Иныя изъ сложныхъ словъ удачнѣе, потому, что примыкаютъ къ хорошимъ образцамъ, или могутъ быть поняты какъ естественное сокращеніе хорошихъ фразъ; иногда притомъ соблюдено и правило перемѣны окончанія второй части. Таковы: цвѣтоплеть — ср. лѣтопись (Романсъ III); подъ бичелучье молній (Бриндизи); плутоглазка (Валентина); горничная Катя—алодѣвчикъ (27 Августа 1912 года); вѣтропрѣсвистъ экспресовъ! крылолѣтъ буэровъ! (Ананасы, Увертюра).—Не разъ еще—не берусь точно сказать, когда—можно сослаться и на шуточность тона.

Къ тому же наши книжныя слова нерѣдко грѣшатъ неудобною длиною, на что жаловался уже Дмитриевъ, въ предисловіи къ своимъ Баснямъ, надъ чѣмъ подтрунилъ одинъ чехъ, Рубешъ, сказавъ, что «у русскаго слова саженныя»:

Rus má sáhodlouhá slova.

Въ виду этихъ длиннотъ, несомнѣнно весьма желательно удачное слитіе двухъ словъ въ одно, а также и другіе сокращательные приемы.

Поэтому-то не могу не сочувствовать различнымъ способамъ укорочки, встрѣчающимся у Сѣверянина *). Употребляетъ онъ слѣдующія укороченныя слова: Богомать (Въ березовомъ котѣджѣ), прелюдъ: въ прелюдѣ мѣсяца лиловаго — при чемъ, впрочемъ, неясно, какой это мѣсяць (Въ Миррэлѣи), провинца и квинтъ-эссенца: въ одну изъ моревыхъ провинць (На летунѣ), квинтъ-эссенца спешѣй (Цвѣтокъ букета дамъ). Съ послѣдними можно сравнить державинскіе «бердыши милицы» вм. «милици» (Евгенію, Жизнь Званская, 38). Таковы еще: оло́нецъ: въ краю олонца (Прощальная поэза), вм. олончанина; радуется сердце любое мое—вм. любящее, любвеобильное (Гринадцатая); ироничный (Зарюю жизни), симфоничный (Морская памятка); незатѣйный (Тж.); день... парадный, музыкальный («Провижу день»); читая твои укоризныя письма (Корректное письмо); все всяко—т.-е. всячески, разными способами—сказано (Кладбищ. поэзы, 1); туманъ... тебя задропить, вм. задрапируетъ, съ его нѣмецкимъ суффиксомъ -ig (Балтика, 5); открытки вашей тонъ элежный, вм. элегическій (Письмо на югъ); я впрыгивалъ... въ трамъ—т.-е. въ трамвай (Крымская трагикомедія); безпредложное «чаровательный» (Поэза о Mignon); произведенное отъ болѣе краткаго настоящаго времени, вмѣсто инфинитива, «чаруйный» и однородное съ нимъ «волнуыйный»,—второе встрѣчается 2 раза, а первое—цѣлыхъ 5, напр.:

Ты чаруйную поэму превратила въ жалкій бредъ! (Валентина).
 Черезъ двадцать шесть волнуыйныхъ маевъ (Предчувствіе поэмы).

Въ томъ же родѣ безпопья свадьба (Пляска мая), дамья туалеты (Каретка куртизанки) и дамья кавалерія (Процвѣтъ Амазоніи), тысячи душъ и дѣввяхъ, и женскихъ (Тіана **), чувство мужье (Съ ядомъ у костра). Двукратное укороченье

*) Къ укороченью и къ усиленію рѣчи ведутъ и выше отмѣченныя новотворки вродѣ «опердить»—украсить жемчугомъ, «ночѣть»—наступаетъ ночь, «бѣлоконные»—верхами на бѣлыхъ коняхъ, и т. п.

**) Есть «дѣвья кожа»,—нѣмецкому Jungfernhleder, — пастила-тянучка.

представляетъ выраженье «популярить изыски» вм. по-пуляри-зи-ро-ва-ть и-зы-ска-ні-я (Мороженое изъ сирени). Последнее—м.-б. и еще кое-что—Игоремъ чуть ли ни сказано въ шутку, но я рекомендовалъ бы это въ серьезъ.

Укорочка у Сѣверянина является еще въ видѣ «извлечки», т.-е. возстановки или созданія первичныхъ словъ на основаніи имѣющихся производныхъ, или же—свободнаго употребленія словъ, обычныхъ лишь въ какомъ-нибудь застывшемъ выраженіи. Вотъ подмѣченныя мною слова этого рода, съ прибавленьемъ къ этой «извлечки» ея источниковъ: слышалъ я, какъ вздрагивалъ окрестъ (Канонъ Св. Иоасафа)—«окрестъ», въ качествѣ нарѣчія; ты..., можетъ быть, томилась вешнею ажурью (Четкая поэза)—ажурный; ради нашей дочки, крошки въ родѣ крола («Ты ко мнѣ не вернешься») — кроликъ, ср. столъ—столикъ: этотъ «кроль», пожалуй, естественнѣе того слова «кроль», кое я бы образовалъ, въ виду польскаго król король, при królik; у ограды монастырской столбенѣлъ зловѣще инокъ (Юльскій полдень) — о-столбенѣтъ; «струны своихъ мандолъ» и «галопъ мандолъ» (Дель-Аква-Торъ, 2, и Хабанера III)—мандол-ина; съ присѣвшихъ въ устали верблюдовъ (Балькисъ и Валтасаръ, 1)—безъ устали: подобнымъ же образомъ я позволилъ себѣ сказать, что «кони ихъ... ѣдятъ лишь мало, устали не зная», Освоб. Ерус., I, 50; пунць Запада (Городская осень)—пунцовый; отзвукъ денного гуда (Коктебель)—«гудѣтъ», правда, уже имѣющее при себѣ «гуль»; на Францію смотря прищуромъ зоркихъ глазъ (Гюи де Мопассанъ)—прищуриться; незримой изнутри лазорью осілина (Тж.)—лазоревоый; арабець, т.-е. арабскій конь (Демонъ)—арабчикъ; кудесное кольцо (Героиза), также: о, глазки, вы кудесные (Тебѣ, моя красавица) и: кудеснѣй всѣхъ женщинъ—ликеръ изъ бананъ (Тіана)—кудесникъ; алыи крапать на блузкѣ (Еще вы дѣвушка)—крапчатый; поэза вм. стихотвореніе—поэзія; грандіозъ: вѣдь это жъ грандіозъ! (Поэза спичечнаго коробка)—грандіозный; перятся сѣро соловьи! (Памяти К. М. Фофанова)—опериться; о, внѣшній сверкъ (Тарновская)—сверкать.

Однако, при всемъ своемъ стремленіи къ краткости, Сѣверянинъ одной своей вещи далъ заглавіе: «Поэза о солнцѣ въ душѣ восходящемъ», а другой «Поэза дѣтства моего и отрочества», и говоритъ въ одномъ мѣстѣ о «паркоаллейныхъ кладбищахъ» (Кладбищенскія поэзы, II), а въ «Родникѣ» являются «неисчерпываемая вода», «неотбрасываемо я приникаю» и «извѣдривающаяся струя».

И переформовка уже бытующихъ словъ встрѣчается у Игоря помимо стремленія къ краткости. Въ одномъ случаѣ авторъ, видимо, добивался большей ясности, когда глаголь зрѣть—зрю и въ инфинитивныхъ формахъ отличилъ отъ зрѣтъ—зрѣю, сказавши: онъ зрилъ въ шантанѣ храмъ (Гюн де-Мопассанъ) и: среди друзей я зрилъ Іуду (Эго-фут., Эпил.). Ср. попадающее въ просторѣчьи, а изрѣдка и у писателей, стелить вм. стлать, при чемъ стлать-стелю и для уха вполне отличено отъ слать-шлю. Обыкновенно же въ этихъ случаяхъ приносилась жертва (по моему вполне допустимая) стиху и рифмѣ: скелетомъ чернымъ перелѣсець пускай пугаетъ (Октябрь)—вм. перелѣсокъ; онъ не нашель страны цвѣтковой (Дель-Аква-Торъ)—вм. цвѣточной; идолопоклонца и беззаконца (Поэза о солнцѣ въ душѣ восходящемъ; второе слово повторяется въ Эпиграфѣ Эго-футуризма, 2)—вм. идолопоклонника, беззаконника, ср. у Баратынскаго «старовѣрца» вм. старовѣра—риома: сердца; на горячій моревый песокъ (Прогулка короля) и въ одну изъ моревыхъ провинцъ (На летунѣ)—вм. приморскій; богадѣльница (Мельница и барышня)—вм. богадѣлка; лапы паучныя (Кэнзели)—вм. паучьи; брачуясь («Провижу день»)—вм. брачась, значитъ: брачеваться-брачуюсь вм. брачиться-брачусь.

Въ нѣсколькихъ случаяхъ переформовка произведена просто по какому-то капризу: цвѣтка эдемнаго (Балькисъ и Валтасаръ, 2), вм. эдемскаго; гигантно недоразумѣнье (Поэза истребленія): можно было образовать «гигантско» отъ обыкновеннаго гигантскій. «Тундра клюквовая» въ Тундровой пастѣли д. б. намѣренно отличена, какъ поросшая клюквой, отъ свареннаго изъ клюквы клюквеннаго киселя.

Довольно рѣдко, не разъ однако не совѣмъ кстати, Игорь допускаетъ славянизмы, кои здѣсь отмѣтимъ полностью: какъ розы алья цвѣтуть мои ланиты (Письмо изъ усадьбы); распускался душистый горошекъ на взлелѣянной пажити клумбъ (Душистый горошекъ); пускай пугаетъ! страхъ сожну (Октябрь), т. е. сгоню, прогоню—это погрѣшность вм. сжену, отжену; журчитъ въ фіалахъ вино, какъ зелье (Эпиталама); Валтасаръ... поверженъ долу (Балькисъ и Валтасаръ, 1); маркизы, древя улицы стриженныхъ (Городская осень)—здѣсь, при русскомъ окончаніи, славянская огласовка корня; паутинкой златно перевитый... лѣсокъ (Прогулка короля); злато: вознесъ меня аэропланъ въ моря расплавленнаго злата (Героиза), солнце землю баловало, сыпля злато на поля (Народная) и злато галуна (Забава безумныхъ); препонъ не знающій съ рожденья (Эго-фут., Прологъ, II); я повсеградно оэкраненъ (Тж., Эпиграфъ); «зае болѣзненъ бѣглыхъ взлетъ» (Тж.) и «зае я самъ хамелеонъ» (Поэза возмездія); онъ сталъ тебѣ—дѣвушкѣ—внимать (Поэза безъ названія); что ъ свѣтъ отъ люстры гналъ сонмъ тѣней («Кѣгда ночами»); отъ жути взоръ склонился ницъ (Бѣлая улыбка, 1); дабы назадъ вернуться намъ (Регина); на искусственномъ озерѣ крутоберегаго озера (Озеровая баллада); «дѣвственный твой ликъ окудренъ» (Одно изъ двухъ) и «ихъ лики изъ псевдоантичныхъ» (Предостерегающая поэза); я прихожу подъять свой взоръ на море (Морской набросокъ); въ полдняхъ (будетъ) хлаже золото—солнечное (Осени предчувствіе): корень здѣсь церковнославянскій, а смягченіе—русское, «ж», а не «жд».

Еще—рѣже славянизмовъ, и тоже не очень умѣстны, у Игоря слова простонародныя: весенній гуторъ ворвался въ окна (Надрубленная сирень—иное дѣло «гуторъ на полянкѣ» въ Пляскѣ мая, писанной подъ народную); грубою издѣвкой охлаждала страсть (Четкая поэза),—впрочемъ, «издѣвательство»—длинно; октябрь и смерть—въ законѣ пара, т. е. брачная (Октябрь); журчитъ въ фіалахъ вино, какъ зелье—какъ отравя (Эпиталама); чары еще не кончили свой сказъ (Демонъ), что, пожалуй, недурно; «опять блаженствовать лафа!» (Эго-

футуризмъ, Прологъ, II) и «гдѣ вино внѣ вина, пить и гре- зить лафа!» (Роза въ снѣгу); «луна... гнала съдую мгу» (Со- нетъ: «Я полюбилъ ее зимою») и «кедровъ больше, листвен- ницъ, хрупъ, мги и пихты!» (Тундровая пастель); намъ за вашей веселостью шалой не угнаться (Виѣ); въ душистомъ полымѣ своей весны (Орѣшекъ счастья)—размѣръ допускалъ и литературное («пламени»); о нашей горькой дочкѣ (Ненуж- ное письмо); (лунные) лучи-пролазы (Колье рондо, 4); создан- ное по примѣру «горемыка»—грѣзоныка (Тж.) и по примѣру «чернозѣмъ»—роднозѣмъ: ахъ, роднозѣмъ, какъ заусенецъ, до- кучень, иногда кровавъ («Мою страну зовутъ Россіей»). Пре- красное народное (малорусское) слово, впрочемъ встрѣчавшееся мнѣ и индѣ,—чаровница (волшебница): чаровница-музыка (Ван- да, 3) *).

Вообще у нашего поэта народности мало, даже въ поэзахъ по замыслу народныхъ. Кажется, можно рѣшительно утвер- ждать, что ему не удалось исполнить того, что онъ сумилъ намъ въ концѣ «Громокипящаго кубка»:

Не ученикъ, и не учитель,
Великихъ другъ, ничтожныхъ братъ,
Иду туда, гдѣ вдохновитель
Моихъ искавій—говоръ хать.

Что касается внутренней стороны слова, то Игорь не чуждъ приему, который можно назвать новосмысліемъ или по- возначностью, приему едва ли заслуживающему сочувствія. Правда, въ живомъ языкѣ слова нерѣдко имѣютъ нѣсколько значеній, при чемъ мы не затрудняемся, напр., тѣмъ, что пе- редъ булочной можетъ быть деревянный заборъ, а въ ней усиленный заборъ хлѣба, что можно отказать въ чемъ-нибудь и, напротивъ того, отказать что-нибудь по завѣщанію. Однако

*) Что до слова «сударышня»: сударышни, судари, надо-ль? (Мороже- ное изъ сирени), то я не знаю, взято ли оно изъ народной рѣчи, или же образовано къ слову «сударыня» по близкому примѣру «барыня—барышня».

вновь заводить двузначность—писателямъ, разумѣется, не къ лицу. Поэтому, скорѣй въ оправданье, чѣмъ въ обвиненье нашему автору, предполагаю, что онъ иногда давалъ слову но- вое значеніе потому, что забылъ про старое.

Рядомъ съ обыкновеннымъ значеніемъ «окрылять»: крыло привѣтъ карающей звѣздѣ (Секстина: «Предчувствіе томи- тельнѣй кометы»), глаголу «крылить» придается значеніе «ле- тѣть, нестись»: о ты, чье сердце крылитъ къ раздолью (Фіал- ка), моторолетъ крылитъ на сѣверъ (На летунѣ). Таковы еще слѣдующія мѣста. Пой, маячь пути ко сву! (Грасильда, 3), т. е. освѣщай, какъ маякъ, но маячить значитъ мыкать, во- лочить; сѣмена гранаты (Соната въ штормѣ)—семять но- гами; для тебя пустить корабль до дна—страстный праздникъ (Агасферу морей), т. е. страсть-какой, большой; комфорта- бельный летунъ (На летунѣ)—аэропланъ, тогда какъ летунъ есть летатель, летчикъ; юлять цвѣты (Валерію Брюсову), т. е. іюльски, по-лѣтнему, роскошно цвѣтутъ—для меня получается комизмъ; я превратила сердце въ твердь (Осеннія мечты), так- же: на твердь... онъ грохнулся (Памяти Маціевича)—твердь равно латинскому firmamentum, сводъ небесный; я... весь вос- крыліе—полетъ (Версеусе томления), также: тщета воскрылій... тщета усилій (Пѣвица лилій полей Сарона)—славянское вос- крыліе значитъ кайма, обшивка; до дня грядущаго отъ сотво- ренья міра (Балькисъ)—грядущій, будущій, взято въ смыслѣ идущаго, текущаго, настоящаго; на широкихъ дѣдовскихъ диванахъ присѣдали мы (Бѣлая улыбка, 1), т. е. присажива- лись; іюلیلъ вечеръ, мечта звѣзды высъчь (Саронская фанта- зія), понимай: высъчь, какъ искры изъ кремня, а не розгама; глаза въ глаза грузя (Кладбищенскія поэзы, 1), т. е. по- грузая, углубляя, а не нагружая, сваливая; такая ужъ ве- сѣлка (Метѣлка-самомѣлка), т. е. веселушка, затѣйница, а не кухонная лопатка для тѣста *).

*) Сюда же я склоненъ отнести принимаемый Игоремъ титулъ «рек- торъ Академіи» (Поэзоконцертъ)—мнѣ при этихъ словахъ представляется не глава поэтскаго кружка, а начальникъ высшаго духовнаго училища.

Есть случаи, гдѣ стѣртъ оттѣнокъ значенія. Такъ темная, тѣсная дворницкая названа «вертепомъ» (Поэза безъ названія); сердце бьется четко (Четкая поэза): четко вѣдь значитъ ясно на письмѣ или въ печати,—впрочемъ, уже Тургеневъ сказалъ: водная гладь.. дробится и дрожитъ мелкой, четкой рябью (Записки охотника—Стучить); глаголь «обречь» употребленъ у Игоря про обстоятельства благоприятныя: въ моей душѣ восходитъ солнце, и я лучиться обреченъ (Поэза о солнцѣ, въ душѣ восходящемъ), чтобъ на безсмертье дочь обречь (Предчувствіе поэмы). Такое обезцвѣчиванье, правда, встрѣчается въ житейскомъ обиходѣ: теперь чуть ли не всѣ пишутъ «благодаря морю», «благодаря жестокости нѣмцевъ», хотя можно сказать «вслѣдствіе», «по причинѣ», «по винѣ»; однако писатель призванъ обогащать языкъ, а не обѣднять.

Непріятно поражаетъ у Сѣверянина обиліе иностранныхъ словъ, изъ коихъ инья мнѣ, несмотря на порядочное знакомство со значительнымъ числомъ языковъ, совершенно непонятны; о рядовомъ читателѣ и говорить нечего. Являются напр.: коттеджъ, англійское слово, означающее дачу, произносимое Игоремъ съ французскимъ удареніемъ: живете вы въ березовомъ котеджѣ (и заглавье: Въ березовомъ котеджѣ); котеджъ съ риемой истечъ (Поэза дѣт. м. и. отр.); шалэ—бесѣдка (Янтарная элегія и Въ шалэ березовомъ); Бриндизи (заглавье: это итальянское brindisi, спичъ, тостъ); глаза, поющія віолами (м.-б. «віолинами», т. - е. скрипками?—«Ойле»); эфемериды—обыденки: враждебныя эфемериды да изничтожатся теперь (Во имя зорь весны грядущей); какъ пахнетъ моремъ отъ вервэны («Вервэна»—что это значить, не поясняетъ и «очеркъ тѣхъ вервэнныхъ губъ»)—Поэма между строкъ, II); на улищъ специі куконъ, огимнивъ экстазъ въ вирелэ! (Мороженое изъ сирени; это загадочное для меня слово является также какъ заглавье, написанное латинскими буквами: Virelai); загадочно мнѣ также слово Розирисъ—заглавье 1-го отдѣла «Ананасовъ»; коктейли звучатъ за коктейлями, поютъ ихъ прекрасныя женщины (Фантазія восхода); сонетъ съ колою: итальянское coda, хвостъ,—излишекъ стиховъ въ сонетѣ (Гар-

новская); съ бѣлорозой въ блондныхъ волосахъ: blonds blond,—бѣлокуроья (Въ госпиталѣ). Что такое «электрассонансъ» для меня осталось загадочнымъ и послѣ прочтенія Игоревскаго стихотворенья подъ этимъ заглавіемъ. Понятна, но далеко не красива, иная самодѣльная иностранщина, какъ «Амазонія» (Процвѣтъ Амазоніи—страны амазонокъ, воинственныхъ женщинъ) и трудъ—пчелъ—въ изумрудной «Вассалии» (Промелькъ: «Янтарнс-гитарныя пчелы»)—т. е. въ данническихъ лугахъ.—Иногда можно догадываться, что уродливая иностранщина подпущена для шутки.

Очень портятъ русскую рѣчь, особенно стиховую, чужезловы несклоняемые. Крайне странно, и даже непонятно заглавие «Колье рондо»—какъ смѣлый новщикъ не догадался назвать это «рондовымъ ожерельемъ» или м.—б. «рондовымъ вѣнкомъ»? Нехорошо звучатъ также: «я къ вамъ по поводу Торквато Тассо» и «мы, изучившія Торквато Тассо»—употребленныя несмотря на риому принцесса «Интасса» (Поэза трехъ принцессъ *); подходятъ ночи въ сомбреро синихъ (Коктебель)—по-испански было бы sombreros; тамъ, гдѣ всѣ палаццо изъ пластовъ базальта (Боронатъ)—по-итальянски было бы palazzi. Впрочемъ въ «Интродукціи» поэтъ смѣло и недурно сказалъ: его палаццо изъ палаццъ, а въ другомъ мѣстѣ (Фантазія восхода): «Осанна» гремитъ за «Осанною».

Непонятны слова у Игоря иногда представляютъ отзвуки изъ литературы, исторіи и географіи, какъ: Нарциссъ Сарона, Соломонъ (Рондели); властелинъ Миррэліи (Боа изъ хризантэмъ) и «опять въ Миррэліи привѣтливой ловлю стремительныхъ форелей» (Въ Миррэліи); «Кэнзели» (заглавие въ Громко кипящемъ кубкѣ); напѣвая изъ Грига (Воздушная яхта); съ визитомъ къ самому Палладину (Тж., замѣтимъ, что не у

*) Торкватъ Тассъ (вспомнимъ общеизвѣстную элегію Батюшкова «Умирающій Тассъ») прежде для всѣхъ былъ Тассомъ—лишь недавно мы стали блистать глубокимъ знаніемъ итальянскаго языка, гдѣ ояъ Torquato Tasso. Это «о»—обычное окончаніе итальянскихъ предметницъ, коему соотвѣтствуетъ наша безсуффиксность (на письмѣ—ъ) и связанное съ нею склоненіе.

Карла Великаго); въ бѣломъ ранчо (Madame Sans-Gêne); краснокожій металлъ бумерангъ (Тж.,—австралийское метательное орудіе); оставляя рюмку съ Беникарло (Въ госпиталѣ); улыбно свѣтитъ съ неба Синъ (Балькисъ и Валтасаръ, 2); вдругъ заискритесь, какъ Муммъ (Поэза о Фофановѣ); бросаетесь въ траву, Снѣгуркою-Тіанюю мечтая на яву (Шѣсенка-весенка); повѣряя пламенно золотой формингъ чувства потаенныя (Неронъ)—греческое *phorminx*, арфа; разъ душу переѣхали квадриги (Колье рондо)—латинское *quadriga*, четырехконная колесница; «Кальвиль раздорія» среди принцессъ (Поэза о трехъ принцессахъ).

Любовникъ уйдетъ отъ меня, «оставивъ мнѣ незримый гіацинтъ» (Berseuse осенній)—это чуть ли ни намекъ на греческое преданіе о юношѣ Гиацинтѣ, превращенномъ въ цвѣтокъ, будто бы съ написаніемъ его имени.

Кое-гдѣ нашъ поэтъ выразился туманно и помимо словарныхъ новшествъ. Такъ мы у него читаемъ: мнѣ хочется, чтобъ сгинулъ, чтобъ исчезъ тотъ домъ, гдѣ я замужняя невѣста (Berseuse осенній); тщетно я терзался: кто ты? амулетка, вѣрная обѣту? лилія-ль съ виномъ? (Четкая поэза); твоей симфоніей слѣпой я сердце захлесну! (Грасильда, 3); утомленная женщина, отшвырнувъ голенищи, растоптала коляскою марьонетку проказъ... (Маріонетка проказъ); принцессы въ Игоревъ призрачный теремъ «вошли, какъ Ромулъ и какъ Ремъ» (Грезовое царство); дѣва съ поля! Кто же имя дѣвы вкуситъ (Весна—изъ послѣдующаго видно, что это значитъ «узнаетъ»); Квадратъ квадратовъ (какъ заглавіе); повсюду сонъ, вездѣ туманъ, какъ обручъ голоса... (Грасильда, 2); душа прибоемъ солона (Крымская трагикомедія). Сюда же отношу и слѣдующія мѣста, гдѣ, правда, есть новотворки, но вполне понятныя, такъ, что неясность вышла помимо ихъ: по аллеѣ олуненной вы проходите морево (Кэнзели)—проходите, точно море?!; ручьются шелестно въ извивахъ душъ («Любить единственно»); онъ—первый, кто сказалъ, что все былое безвпрочно (Крымская трагикомедія).

Съ другой стороны встрѣчаются рискованныя слова и

обороты, кои нисколько не мѣшаютъ понятности. Таково переносное употребленіе цвѣтовыхъ названій въ слѣдующихъ примѣрахъ: пойте... о улыбокѣ лазоревой дѣвичьей (Berseuse)—объ улыбокѣ, ясной, какъ небесная лазурь, съ чѣмъ однородно: мнѣ хочется тебя увидѣть, печальную и голубую (Элементарная соната), а также: Клавдій такъ лазоревъ (Неронъ); аяя шалости (Диссона), возвратъ любви мгновений алыхъ (Сонетъ: «Любви возврата нѣтъ»), ты долго пожилъ ало (Дель-Аква-Торъ, 1)—алый, конечно, яркій *). Понятны и слѣдующіе случаи: она, завесенясь, смахнула слезу-незабудку (Отравленные уста, 4), т.-е. прояснилась лицомъ и отерла слезу, еще напоминающую о печали; гдѣ спитъ палачъ-вулканъ на стражѣ зова (Октавы)—спитъ въ ожиданіи часа губительнаго изверженія; злакъ лазурить спокойствіе въ нервѣ, не зная словесныхъ клоакъ (И рыжикъ, и ландышъ, и слива)—былинка проясняетъ и успокаиваетъ чувства, безъ грязной рѣчи человѣческой; сомнамбуленъ ликій опалъ (Балтійское море)—желтоватое лицо сонно-мечтательно; проборчатый, офраченный картофецъ (Въ лимузинѣ: лимузинъ—какая-то повозка); о дѣвоженщинѣ, сковавшей мнѣ уста противоплесками чарующихъ рѣчей, противоблесками волнующихъ очей (Кладбищ. поэза, 1); какъ мнѣ сѣверно, какъ южно вѣрить этой общей лжи! (Поэза довѣрія), т.-е. бросаетъ и въ жаръ, и въ холодъ; (море) ежецвѣтно (Эстляндская поэза)—бываетъ всякаго цвѣта, мѣняетъ свой цвѣтъ; они возможники событий, гдѣ символомъ всѣхъ правъ—кастетъ (Поэза истребленія)—люди, дѣлающіе возможными; звякъ шпоръ и сабель среброзлатъ («Провижу день»)—золотыя и серебряныя шпоры и сабли звякаютъ.

Не разъ, однако, причуды крайне затрудняютъ пониманіе. Я никакъ не могъ уяснить себѣ слѣдующихъ мѣстъ. Смѣется куртизанка. Ей вторитъ солнце броско (Каретка куртизанки);

* Однако, когда въ «Поэзоконцертѣ» говорится про «фіолетовый концертъ», я лишь робко гадаю, что онъ для поэта ало-голубой, т.-е. и страстно-яркій, и небесно-возвышенный.

прошли вѣка, дыма свои сѣдины (Дель-Аква-Торъ, 3); я ихъ привѣтилъ: я умѣю привѣтить все,—божи, Привѣтъ! (Эгофут., Эпилогъ, 1), также: божить земля, и все на ней божить (Валерію Брюсову); сонные сонмы сомнамбулъ весны санно манятъ въ осіянные сны (Сонмы весенніе); лунные плѣны былинной волны (Тж.); примагничены къ безсмертью цвѣтоплетью сердца углубныя въ медузовой алчбѣ (Романсъ III); случайныхъ дѣвъ хотѣлъ въ мечту я осудьбить (Она и онъ); Душа все больше, все безгнѣвнѣй, все милодушнѣе она... (Предчувствіе поэмы)—знаю выраженіе «за милую душу» (въ изобиліи), но оно сюда не подходитъ.

Очень мудроно приведшее въ отчаянье Амфитеатрова двустипіе:

Душа твоя, золя,
Ажурить розофлеръ (Бриндизи).

Хотя и догадываюсь, что это значить «душа твоя вѣтъ зефиромъ изъ-за розовой кисен платя» (ср. тюли золя качала Марчелла: «грустно, весенне усни!» Эскизетка), боюсь нѣсколько, чтобы Игорю по случаю моего толкованія не пришлось повторить слова того мудренаго нѣмецкаго философа, который долженъ былъ признаться, что только одинъ ученикъ его понималъ, и тотъ—превратно.

При чтеніи Сѣверянина такимъ образомъ нѣрѣдко затрудняешься значеніемъ словъ, и я совершенно серьезно примыкаю къ шуточному желанью Амфитеатрова, чтобы изданія нашего поэзика были снабжены списками малоизвѣстныхъ и несовсѣмъ ясныхъ словъ—такія словарики дѣйствительно иногда прилагались къ произведеніямъ чешскихъ писателей въ пору возрожденія чешскаго языка и литературы, когда насочиняли немало новыхъ словъ *).

Но приложенія къ поэзамъ грамматики можно требовать только въ насмѣшку. Въ области словомѣна, управленія и

*) Замѣчу здѣсь же, что меня при настоящей работѣ затрудняли еще оглавленія, расположенныя не въ алфавитномъ порядкѣ.

распорядка у Игоря особенностей почти что нѣтъ, а что есть, пониманія не затрудняетъ.

Очень рѣдки и вполнѣ понятны особыя формы склоненій. Таковы:

«матью» вм. матерью (риема: благодатью), въ Благодатной поэзѣ, чему я знаю параллель у польскаго поэта XVII вѣка Веспазяна Коховскаго, пориёморавшаго ма́це (macią) на бра́це (bracią)—братъей, братьями *); глаза—четырекратно: «о, поверни на рѣчку глаза! (я не хочу сказать глаза)—Юневый набросокъ, океанъ струится въ мозгъ и въ глаза—Въ коляскѣ Экслармонды, глаза внизъ—Поэза дѣтства м. и отроч., олученные глаза—Колье рондо, 4. Миѣ эта форма извѣстна въ поговоркѣ «свинные глаза не боятся грязи», и кажется крайне вульгарной, но не знающій поговорки, вѣроятно, почувствуетъ здѣсь такой же архаизмъ, какъ «домы» вм. домá: «Благословенны ваши дома!» (начало одной вещи въ сборникѣ Victoria Regia). Собственно неправильно, но встрѣчается помимо Игоря «помой» вм. помоевъ (Миссъ Лиль). Еще я отмѣтилъ: почтенные отцы, достойные мужіи (На смерть Фофанова)—князь Вяземскій, напротивъ того, допустилъ «Герои, славные мужья» вм. мужи. Укажу далѣе: на лилій похожи всѣ лебеди (Фантазія восхода), т. е. винильный падежъ въ формѣ роднаго отъ имени неодушевленнаго; сгребаетъ все безъ толка вм. бѣзъ толку (Метѣлка-самомѣлка); колыхаетъ вм. колышетъ (Баллада), что встрѣчается и у прежнихъ писателей; дѣепричастіе «ткя» — необычное, однако вполнѣ соотвѣтствующее введенному и въ литературу народному ткѣшь, ткѣтъ, ткѣмъ, ткѣте, съ «к» вм. фонетически правильнаго «ч». Форма множнаго числа «голенищи» (Маріонетка проказъ) очень кстати отличаетъ это число отъ одного, тогда какъ при окончаніи -а разница была бы только

*) У Коховскаго вольность эта не то оправдывается, не то усугубляется тѣмъ, что самое слово «мать» (mac) у поляковъ издавна устарѣло, замѣняясь производнымъ matka.

на письмѣ; я бы даже порекомендовала Игорю внести народное окончаніе и — ы, вм. -а, нерѣдкое у болѣе раннихъ писателей (такъ, у Пушкина), въ одно, теперь неясное, мѣсто «Златолиры», въ поэмѣ «Я запою», и написать:

Я запою улыбокъ солнца,...
Сердце раскрытыя оконцы *).

Точно такъ же рѣчи не затемняютъ, и даже яснѣе указываютъ на грамматическую роль слова («сказуемость»), очень любимые Игоремъ краткіе прикладки, напр.: весенній день горячъ и золотъ (Весенній день); западъ былъ сиреневъ (Письмо изъ усадьбы); гдѣ волна бирюзова («Это было у моря»); ваша тальма лазорева (Кэнзели); какъ мы подземны! какъ мы надзвѣздны! какъ мы бездонны! (Хабанера III); въ тундрѣ стало южно (Югъ на сѣверѣ); какъ мраморна печаль (А если нѣтъ?); скалы пустынно-мѣловы (Отъ Севастополя до Ялты); ихъ мотивъ былъ такъ чарующъ (Неразгаданные звуки); чья дипломатія апашева (Поэма о гуннахъ); грядущій день весенень, дивенъ, сиренень, птиченъ, солнченъ, златъ! («Во имя зорь весны грядущей»). Единиченъ обратный случай: дѣвы,... брачуясь радья возлечь («Провижу день»). Въ томъ же родѣ: такъ мало можно намъ, а сколького нельзя! (Кладбищенскія поэмы, 1).

Никто, конечно, не затруднится нерѣдкими случаями необычнаго употребленія множнаго числа вм. одинаго, большею частью при значительномъ количествѣ предмета или повторяемости явленія, напр.: я къ Вамъ спѣшу на парусахъ своихъ экстазныхъ своеволий (Весенніе рондели, 1); бѣги автомобилей (Ананасы, Увертюра); несмотря на зной дней (Письмо

*) Толкуя по школьному, о «неправильностяхъ», оговорю, что теперешняя неправильность можетъ быть будущимъ правиломъ: вспомнимъ, что наше выраженіе «коровы пришли» содержитъ форму мужскаго рода вм. женской «пришлы», и звучало нѣкогда столь же дико, какъ донынѣ звучитъ «корова пришель».

на югъ—ср. жары, холода); погребальныя звоны (Миньонетты, II); лѣта... недопитыхъ любовью (Обреченный); обласканы шелестами джунъ (Поэма д. м. и отроч.). Смущаютъ меня «сосны, идеалы равноправій» (Юльскій полдень) и «лучинокъ изъ березъ» (Поэма спичечнаго коробка).

Изрѣдка, опять-таки нисколько не затемняя смысла, поставлено напротивъ того, одинаго число вм. множнаго. Почти не заслуживаютъ вниманія, какъ встрѣчавшіяся и до Сѣверянина, «чара» (сколько чары!—Валентина) и «грѣза» («Что такое грѣза?», «любимая, вѣчная грѣза» Земля и Солнце). Рискованнѣе: «ваши пѣсни запѣтая кознь» (Внѣ), «всѣ гнѣзда въ лопочушемъ хлопотѣ» (Фантазія восхода) и «щекотать просонокъ водѣ» (Свѣтосонъ), при чемъ въ добавокъ въ послѣднемъ случаѣ ни размѣръ, ни риома не мѣшали сказать «просонки».

Книжнику могутъ еще не понравиться нѣкоторыя особенности въ произношеніи, по большей части вполнѣ допустимыя, или даже простирающіяся изъ игнорируемыхъ школьной грамматикой свойствъ живой рѣчи. Таковы случаи необычнаго обезсложенья звука «і» передъ гласными, какъ «ихъ вздохъ витьеватъ» (Экссессерца) и «фимьямною лиловью» (Интермеццо); въ томъ же родѣ «сѣединить» (Посвященіе и Процвѣтъ Амазоніи), уже и прежде допускавшееся вм. установившагося, но сугубо-книжнаго «соединить» — ср. съѣмка; чисто по-русски было бы «съ-одн-ить». Произвольнымъ кажется опущенье «соединительной гласной» въ словахъ «озерзамокъ» (Поэзоконцертъ—нѣсколько разъ) и «зеркалозеро» (Въ шалѣ березовомъ), вм. озерозамокъ и зеркалозеро. Тутъ однако неловко лишь самое сложеніе, на нѣмецкій ладъ, довольно длинныхъ словъ, а укорочка находитъ параллель въ живомъ произношеніи: «набержная» вм. набережная, «проводка» вм. проволока; для «зелкалозера» есть даже ближайшій образецъ въ прикладкѣ «бѣлозерскій» вм. бѣлоозерскій. Насильственнѣе, отчасти даже крайне неприяты—иной разъ, впрочемъ, подпущенные для шутки—слѣдующіе случаи опущенія гласныхъ: ты издѣваешься надъ мной (Аккордъ заклю-

чительный), чаруетъ грѣза все одна и та жъ (Тринадцатая); люблю клубъ дамъ не потому ль? (Клубъ дамъ); дрожитъ въ рукѣ перо ль (Советъ: «Мы познакомились»); любовь ль, риома—рубль (Злата) *); я руки перегрызъ бѣ (Фиолетовый трансъ). Въ томъ же родѣ: строй мірозданья скупъ и плоскъ (Все то же) и: лисицы, зайчики безъ норкъ (Поэза дѣтства моего и отрочества, 1), въ противоположность которыхъ читается: ихъ мотивъ былъ.... полонъ ласокъ (Неразгаданные звуки). Наконецъ, отмѣчу употребленіе, въ нѣкоторыхъ пришлыхъ словахъ и въ образованныхъ съ иностранною наставкою, звука э вм. ё, на мѣстѣ французскаго звука о: ленты лье (милъ), риома: «колье» (Колье принцессы, Увертюра), грѣзѣрка (Качалка грѣзѣрки), что должно бы звучать «грѣзѣрка», или лучше бы: «грѣзница», либо, съ шуточнымъ отгѣнкомъ, «грѣзунья». Впрочемъ риома у Игоря не очень доказательна для выговора, такъ какъ онъ ее нерѣдко замѣняетъ отдаленными созвучіями,—«ассонансами», какъ онъ говоритъ: ассонансы, точно сабли рубнули рифму сторяча (Эго-фут., Прол.), хотя испанскій ассонансъ, это—проведенное по цѣлому ряду стиховъ «равногласіе», напр., дама-рана-слава-услада-зараза.

Еще менѣе могутъ затруднить и смутить, при большомъ разнообразіи въ этомъ отношеніи русской рѣчи, случаи необычнаго ударенія, какъ пороша вм. порѣша (Сказка сиреновой кисти, Женская душа, Nocturne: «Мѣсяць гладитъ камыши»—этотъ выговоръ есть въ областной рѣчи); разведи костеръ у бѣроздъ (Идиллія—ср. «въ грозѣ небритыхъ бѣродъ» у Баратынскаго, «Дядькѣ-итальянцу»); въ рѣчахъ («И рыжикъ, и ландышъ, и слива»); по волнамъ (Поэза д. м. и отр., 1); въ этихъ слѣзахъ (Изъ Сюлли-Прюдома); съ неба

*) Сравнимъ съ этимъ иную, на мой слухъ вполне правильную, риому: «корабль—рабъ» (Соната въ штормъ)—для насъ, сѣверянъ, нормальный выговоръ «рупъ, корапъ». Съ другой стороны—вслѣдствіе своей книжвости, — нормально четырехсложное «дирижабль»: «Солнце, закатное солнце! твой дирижабль оранжевъ!» (Въ пяти верстахъ по полотну, и допустима также риома: «рубль—Врубель» (Поэза въ абонементъ).

синяго лѣтеть струями (Nocturne: «Струи лунныя»). Нѣсколько странна только «холодная кѣрка» (Отравленные уста), т.-е. протестантская церковь, вм. кѣркѣ—лопаты.

Строгая грамматика осудитъ, но живое чутье оправдываетъ также слѣдующіе случаи переходности и страдательности, при употребленіи глаголовъ среднихъ: но кто надтреснулъ лунный ободъ? (Октябрь), отстраданные обманы (Тж.—это слово могло бы войти также въ предыдущій пунктъ, ибо должно бы собственно звучать «отстраданный»); росой накопленъ мой бокалъ (Эго-фут., Эпил.); изстрадаженный, хочу одѣвить, замужница, твои черты (Замужница) *); алыя уста, взбурлившія мнѣ кровь (Злата); графиня ударила вѣромъ страусовымъ опѣшеннаго—опѣшившаго отъ этой выходки—шевалье (На премьерѣ); Вы весело въ дорогѣ проведете слѣдующій часть (Шантажиста, ср. обычное «слѣдующія деньги»); о томъ, что сказано, о томъ, что не успѣто («Одинъ бы лепестокъ»); крыло восторгъ, пылаю оиміамы (Ванда, 3); лишь ты, мечтанный мой, мой свѣтозарный (Поэза о трехъ принцессахъ); вѣтка переѣханной сирени и бокалъ, извиненный до дна (У Е. К. Мравиной). Самъ я, въ стихотвореніи «Мертвая наука» (Памятка Смоленская, Смоленскъ 1911), позволилъ себѣ сказать: гдѣ въ грудѣ, весь растреснуть, лишь камень предлежитъ очамъ.

Не затрудняютъ пониманія и нѣкоторые смѣлые обороты, иной разъ насильственные и неудачные, но не разъ краткіе и выразительные. Примѣры: я бьюсь Марією Потоцкой (Бахчисар. фонт.), вм. бьюсь объ закладъ: поэтъ могъ бы, а пожалуй и долженъ былъ сказать «клянусь»; дрожалъ я войти въ кабинетъ (Соната—сильно боялся); она на пальчикахъ привстала (Маленькая элегія—отчего не «на -ки?»); грѣзы и

*) Два послѣднихъ причастія Впрочемъ и образованы несовсѣмъ правильно: нужно бы «накопанъ» и «изстрадаанный»: «отстрадаанный» намъ только что встрѣтился. Отмѣчу мимоходомъ еще одну необычную глагольную форму: «пронзовываль» вм. «пронизываль» (Крымская трагикомедія).

туманы, вечера въ лунѣ (Четкая поэза—вм. «при лунѣ»); это только въ жасминъ, это только въ сирень («Это только въ жасминъ»—въ пору ихъ цвѣтенія); въ шикъ опроборенные великосвѣтскіе олухи (Въ блестящей тѣмѣ); каретка куртизанки, въ коричневую лошадь (Кар. курт.)—съ послѣдними двумя случаями сравнимъ «комната въ два окна», «заборъ въ ростъ человѣка»; нѣчто красочно-рѣзкое, задохнувшее смѣхъ (Маріонетка проказъ—заставившее задохнуться); проснись любить! смѣлѣе въ свой капризъ! (Въ березовомъ котѣдѣ); какъ пошло вамъ! (Тж.); мнѣ запечалилось (Письмо изъ усадьбы); пустить корабль до дна (Агасферу морей—только риома вызвала такую замѣну обычныхъ соединеній «на дно» или «ко дну»); отнынѣ оба—мечта и кисть—въ нѣмой гармоніи (Врубелю—вм. обѣ! риома: на крышку гроба); разъ объѣлся пирогами (Дуракъ—вм. пироговъ); одна изъ этихъ вѣчныхъ статуй какъ-то странно мнилась мнѣ добра (Бѣлая улыбка, I); съ предстала отошла сестра каріатидъ (Тж., III); горничная Катя... торопится лужайку напролетъ (27 Августа 1912 года*).

Не опасно для смысла также, притомъ весьма рѣдкое, нарушеніе обычнаго порядка словъ: полвѣка умеръ онъ ужъ, вотъ (Бѣлая улыбка, I); минуты счастья! я вижу васъ ли? (Звѣзды); морей безбѣрежныхъ среди (Южная бездѣлка); въ небѣ грянула гроза бы (Рондель: «Отъ Солнца я веду свой родъ»); свергнули глаза два горячихъ (Поэма между строкъ, II).

Однако Игорь, чему мы видѣли цѣлый рядъ примѣровъ, все-таки не разъ выражается такъ, что я не могу его понять; между тѣмъ я полагаю, что, хотя бы нашъ поэтъ иногда писалъ для немногихъ, я, какъ филологъ и поэтъ, безусловно принадлежу къ тѣмъ, кому должно быть возможно его разумѣть. Печатаются же люди несомнѣнно для того, чтобы пе-

* Управленіе по литературному неправильное, но въ народѣ обычное, представляетъ одно заглавіе въ Анавасахъ: «По восемь строкъ» вм. «По восьми».

редать свои мысли и чувства, каковая цѣль при непонятности не достигается.

Положительно, Сѣверянинъ иногда злоупотребляетъ широкою свободой, узаконенной уже Горациемъ, сказавшимъ, что:

запрета нѣтъ, и не будетъ
Въ рѣчи своей выводить слова современной чеканки,

или общѣе, но съ нѣкоторою, здѣсь не приводимою, оговоркой насчетъ разумности:

живописцамъ всегда и поэтамъ
Смѣло рѣшаться на все давалось полное право.

Романъ Брандтъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

<i>Игорь Сѣверянинъ. Автобіографическая справка</i>	5
Отъ издателя.	7
<i>Валерій Брюсовъ. Игорь Сѣверянинъ</i>	9
<i>Сергій Бобровъ. Сѣверянинъ и русская критика.</i>	27
Рецензіи	42-126
П. Петропавловскій.	42
И. В. Игнатьевъ	43
А. Измайловъ (Громокипящій Кубокъ).	47
А. Измайловъ (Златолира).	54
А. Крайній.	60
Сем. Рубановичъ	61
Ивановъ Разумникъ.	73
Вл. Шмидтъ	79
Вл. Гиппіусъ	87
Ал. Амфитеатровъ	98
Книжникъ	115
Junior.	118
Андрей Полянинъ.	119
А. Б.	120
<i>Проф. Р. Ф. Брандтъ. О языкѣ Игоря Сѣверянина</i>	128
